

DOI: 10.23681/500014

*А. С. Демин*

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СЕМАНТИКА  
ДРЕВНЕРУССКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ФОРМ  
И СРЕДСТВ**

*Аннотация:* В предлагаемом виде работа состоит из четырех глав. В первой главе, содержащей 10 самостоятельных очерков, рассматривается изобразительность, выразительность и экспрессивность сравнительно мелких средств повествования в произведениях XII – начала XVIII вв. Во второй главе, содержащей 6 самостоятельных очерков, изучается семантика более крупной литературной формы – циклов внутри произведений тех же веков. В третьей главе, содержащей 5 очерков, ставится вопрос о еще более крупной литературной форме – о смысловом взаимодействии жанров в составе памятников того же периода. В четвертой главе анализируются факторы выразительного повествования в русских летописях XII–XIII вв.

*Ключевые слова:* древнерусская литература, поэтика, семантика, эстетика, большие и малые формы и средства, вкусы и настроения авторов и общества.

*A.S. Demin*

**ARTISTIC SEMANTICS OF THE OLD RUSSIAN  
LITERARY FORMS AND FIGURES OF SPEECH**

*Abstract:* The paper is composed of four chapters. The first one, comprising 10 individual essays, deals with figurativeness, artisticity and expressiveness of comparatively small narrative tools in the works of the 12<sup>th</sup>–18<sup>th</sup> centuries. The second chapter, consisting of 6 individual essays, examines semantics of a larger literary form – cycles inside the works of the same centuries. The third chapter, comprising 5 essays, raises an issue of an even larger literary form – semantic interaction of the genres within literary texts of the same period. The fourth chapter examines techniques and means of expression in the narratives of Russian chronicles of the 12<sup>th</sup>–13<sup>th</sup> centuries.

*Keywords:* Old Russian literature, poetics, semantics, aesthetics, large and small literary forms and tools, preferences and attitudes of authors and society.

## Глава 1

### *Новые материалы по поэтико-эстетическому источниковедению древнерусской литературы*

С чего начинается художественная литература? Наверное, с так называемых мелочей. Характеристика произведений и – главное – их авторов, как хорошо известно, опирается на точное толкование смысла авторских высказываний, выражений, слов, но тут-то и «прячется» субъективность исследователя, если не изучена авторская семантика самих литературных средств. Так что поэтика литературных средств (термин Д. С. Лихачева) необходима, хотя, скажем прямо, полностью преодолеть субъективность наших суждений все-таки не удается.

В данной работе мы говорим о древнерусских авторах как о писателях и анализируем их очень разные литературные вкусы, средства и мотивы в очень разных древнерусских произведениях. Так набираются материалы для постановки идейно-художественных проблем будущих исследований. А пока – факты. Ввиду отдельности очерков списки литературы прилагаются к каждому очерку отдельно в конце работы. Все тексты цитируются с упрощением орфографии.

#### *1. Скрытые изобразительные и выразительные мотивы у летописца в «Повести временных лет»*

Даже самая слабая изобразительность ценна для нас в «Повести временных лет». Это писательское явление возникало уже в древности, и возникло оно благодаря скрытой добавке авторских ассоциаций к предметным описаниям – в основном по причине важности поднимаемых тем.

Отметим некоторые скрытые (благодаря авторским ассоциациям), но вполне осознанные летописцем изобразительно-эстетические мотивы в последовательности оригинальных (непереводных) рассказов в тексте «Повести временных лет»<sup>1</sup>. Исходим из

---

<sup>1</sup> «Повесть временных лет» цит. по: [1]. Указываются столбцы.

предпосылки, будто летопись составлена как бы одним и тем же летописцем.

**Возвышенность киевских «гор».** В качестве первого примера привлечем рассказ о пророчестве апостола Андрея о Киеве: «пойде по Днепру <...> и ста подь горами на березе <...> и рече к <...> ученикомъ: “Видите ли горы сия, яко на сихъ горахъ восияеть благодать Божья, имать градъ великъ быти, и церкви многи Богъ въздвинути имать”. И въшедь на горы сия <...> и постави крестъ <...> и сълезь съ горы сея» [1, стб. 8].

Этот отрывок скрыто выразил авторское представление о значительной возвышенности киевских «гор». Словосочетание «ста подь» означало, что «горы» находятся над днепровским берегом (ср.: «на горахъ надъ рекою Днепрською» [1, стб. 17]). Словосочетание «въшедь на» означало восхождение вверх (ср.: «въшедшю на гору къ Богу» [1, стб. 96, под 986 г.]). Словосочетание же «сълезь с» означало сходжение с возвышенности вниз (ср.: «влещи с горы <...> къ Днепру» [1, стб. 116–117, под 988 г.]). Благодаря сочетанию этих деталей летописцем в текст был внесен дополнительный уважительный мотив возвышенности киевских «гор».

Мотив этот, по всей вероятности, возник как сопровождение важной темы. Ведь рассказ о пророчестве апостола Андрея являлся скрытым же описанием церковной церемонии; а в описания таких служб обязательно входили поучение, благословение людей и молитва (апостол «въставъ и рече к сущимъ с нимъ ученикомъ ... въшедь на горы сия, благослови я, и помоливъся Богу» [1, стб. 8]). (Ср. в других местах летописи: «поучи ю патреархъ о вере и рече <...> и заповеда ей <...> благослови ю патриархъ и отпусти ю» [1, стб. 61, под 955 г.], «наказавъ его и научивъ <...> и рече ему <...> благослови и отпусти его» [1, стб. 156, под 1051 г.]). Летописец не ограничивался чисто внешним изложением событий даже в лаконичном сообщении.

**Горделивость позы.** В высказывании о покорении дулебов обрами летописец использовал явно необычные детали по отношению к обрам: «аще поехати будяше обьрину, не дадяше въпрячи коня, ни вола, но веляше въпрячи 3 ли, 4 ли, 5 ли женъ в телегу и повести обьрена» [1, стб. 12].

Этот палаческий экипаж дополнительно ассоциировался у летописца с вызывающе гордым видом дородных наездников, на что косвенно указывало замечание: «быша бо обьре теломъ велици и умомъ горди».

Подтверждает наличие такого осудительного мотива и аналогия – рассказ тоже о езде деревян на якобы покоровившихся киевлянах. Детали тоже необычны – деревянные заявляли: «не едемъ на конихъ, ни на возехъ, ни пеши идемъ, но понесете ны в лодьи», «и понесоша я в лодьи» [1, стб. 56, под 945 г.]. А вот и упоминание об их гордом виде: «они же седяху ... *гордящеса*».

В обоих случаях осуждающий изобразительный мотив появился благодаря связи опять-таки с главной темой – летописец раскрыл обстоятельства внезапной полной гибели гордецов (обры: «Богъ потреби я, и помроша вси, и не остася ни единъ обьринь» [1, стб. 12]; деревян «вринуша е въ яму и с лодьею <...> и засыпаша» [1, стб. 56]).

**Грозность кораблей.** К содержащей скрытый изобразительный мотив можно причислить следующую фразу в рассказе под 907 г. о походе Олега на Царьград: «И повеле Олегъ <...> воставляти на колеса корабля и <...> *въсия парусы, съ поля и идяше къ граду*» [1, стб. 30]. Здесь две необычные детали: корабли на колесах, и едут они по полю под парусами. Смысл: стремительное и грозное передвижение кораблей-вездеходов ко граду. Косвенно такой мотив подтверждается продолжением фразы: «и *видевше греци и убояшася*». Деталь «убояться чего-то или кого-то» устойчиво ассоциировалась в летописи с угрожающими явлениями. Боялись большого войска, готовящегося к нападению, боялись чужого народа (ср.: «*100 тысящъ <...> изидоша противу руси; видевше же русь убояшася зело множества вои*» [1, стб. 70, под 870 г.]; «*виде ту человекы нечистыя <...> то видевь, Александръ убояся, еда како умножаться и осквернять землю*» [1, стб. 235–236, под 1096 г.]).

Мотив грозного движения кораблей появился у летописца тоже благодаря связи с главной важной темой победы Олега над греками.

**Отчетливая видимость объекта.** В легенде о смерти Олега под 912 г. упоминаются скелет и череп коня: «*беша лежаще кости его голы и лобъ голъ*» [1, стб. 39].

Деталь «лежати» ассоциировалась у летописца с ясной видимостью лежащего предмета (недаром Олег говорил о коне: «а то *вижю кости его*»). Это была устойчивая ассоциация летописца (ср.: «*видяща лежащая в теле*» [1, стб. 68, под 969 г.]; «*видевъ лежачие сечены*» [1, стб. 148, под 1024 г.]; «*видевше бецисленое множество злато и сребро <...> лежить*» [1, стб. 198, под 1075 г.] и пр.).

Необычные же детали (голые и кости, и череп) ассоциировались еще и с внешним состоянием лежащего объекта (ср.: «*видехом*

<...> *лежаць* мощьми, но *сстави* не *распалися* беша» [1, стб. 211, под 1091 г.]; «*лежаше* на единой стороне <...> *червье* *выкыняху* подь беду ему» [1, стб. 193, под 1074 г.] и др.).

Судя по сочетанию деталей в рассказе об Олеге, летописец не обошелся без изобразительного мотива, тоже связанного с главной темой: хорошо были видны лежащие кости коня, да Олег не заметил в них змею.

**Теснота сражающихся.** Изобразительный мотив появился в летописи после долгого перерыва, уже под 1019 г. Рассказывается о военном сражении двух враждующих князей: «и *покрыша* поле Летьское *обои* от *множества* *вои* <...> и *сступишася* *обои* <...> и *за руки* *емлюче* *сецяхуся*» [1, стб. 144]. Все отмеченные здесь четыре детали у летописца ассоциировались со сходным пространственным явлением: деталь «покрыти что-либо» ассоциировалась у летописца со сплошной заполненностью пространства объектами (ср. в других местах летописи: «*бе-щисла* *корабль*, *покрыли* *суть* *море* *корабли*» [1, стб. 45, под 944 г.]; «*прузи* <...> *покрыша* *землю*» [1, стб. 229, под 1095 г.]); множество объектов ассоциировалось с их тесным соприкосновением («за *руки* *емлюче*»; ср.: «*оступиша* *градъ* <...> *бещислено* *множество* *около* *града*, и *не* *бе* *льзе* *изъ* *града* *вылести*» [1, стб. 65, под 968 г.]; «*игрица* *утолочена*, и *людии* *много* *множество*, *яко* *упихати* *начнуть* *другъ* *друга*» [1, стб. 170, под 1068 г.]; и пр.). Деталь «сступитися». пожалуй, тоже подразумевала тесноту контакта войск (ср.: «*бе-щисла* *вои* <...> *сступишися* *на* *месте* <...> и *притиснуша* [1, стб. 139–140, под 1016 г.]). Скрытый изобразительный мотив жестокой тесноты сражающихся предвдварял главное – бегство одной из сторон.

**Резкое сверкание во тьме.** Под 1024 г. тоже рассказывается о сражении князей, но изобразительный эффект здесь иной: «*бывши* *нощи*, *бысть* *тма*, *молонья* <...> и *дождь* <...> *яко* *посветяше* *молонья*, *блещашеться* *оружье*» [1, стб. 148]. Битва – необычная, ночная, детали ее необычные – световые, контрастные на фоне ночной тьмы и ассоциировавшиеся у летописца с неожиданным резким светом (ср. в других эпизодах: «*молнья* *осветиша* *всю* *землю*» [1, стб. 284, под 1110 г.]; «*блистаста* <...> *акы* *солнце*» [1, стб. 192, под 1074 г.]; «*восия* <...> и *бысть* *блистающи*» [1, стб. 165, под 1065 г.]). Световой мотив опять-таки был связан с главной темой рассказа – дезориентацией ослепленных воинов, которые начали рубить не тех, кого надо.

**Пространственная стесненность.** Этот мотив, наблюдаемый тоже после большого перерыва, родствен мотиву воинской

тесноты, но относится к тесноте монашеской. Так, под 1074 г. описывается подвижничество монаха Исакия: «одра мехомъ козель и облече <...> и осше *около его* кожа сыра, и затворися <...> *въ кельици*» [1, стб. 192]. Две необычные детали, притом с пояснениями, создали здесь изображение мучительно плотного охвата человека. Первая деталь: грубая кожа, высохшая вокруг тела монаха (пояснение «около» означало окружение вплотную. Ср. далее в этом же рассказе: «беси <...> начаша садитися *около его*, и бысть *полна* келья ихъ»). Ср. также другие примеры: «нападоша <...> *около* шатра и *насунуша* копыи» [1, стб. 134, под 1015 г.]; «сташа *около* Белагорода и *не дадяху* вылести из города» [1, стб. 127, под 997 г.] и др.).

Вторая деталь ассоциировалась с еле выносимой теснотой «кельици», что и было пояснено летописцем: «Исакии <...> затворися <...> *въ кельици* мале. *яко четыре* лакоть <...> на ребрехъ не легавь, но *седя*» (к тому же упоминание помещения в уменьшительной форме ассоциировалось с его теснотой; например: «и не можемъ ся вместити <...> поставили *церковью* малу <...> Богъ умножаетъ братью, а *местьце* мало» [1, стб. 158, под 1051 г.]; ср. также в эпизоде об Исакии: «ядь его <...> подаваше ему *оконцемъ*, *яко* ся вместяше рука» – такое узкое оконце).

Изобразительный мотив тесноты «кельици» Исакия был использован летописцем для контраста с главной темой эпизода – внезапным неприятно ярким светом, ошеломившим монаха, который принял беса за Христа.

**Мертвость человека.** Далее о судьбе Исакия рассказывается под 1074 г. же: «*лежа* си; ни хлеба *не вкуси*, ни воды, ни овоща, ни от какаго брашна; ни языкомъ *проглагола*, но *немъ* и *глух* лежа» [1, стб. 194]. Перед этим описанием летописец сообщил, что Исакия «*мертва* мняще» [1, стб. 193]. И действительно, в данном случае деталь «лежати» ассоциировалась у летописца с неподвижной мертвостью людей (ср.: «ляжемъ <...> мертвы» [1, стб. 70, под 871 г.]; «взложиша <...> мертва» [1, стб. 261, под 1097 г.]; «паде мертвъ» [1, стб. 181, под 1071 г.]; «падаху <...> мертви» [1, стб. 221, под 1093 г.] и пр.). Детали же «не ести, не пити, не говорити» тоже ассоциировались с неживостью персонажей (ср. о языческих идолах: «не ядятъ бо, ни пьютъ, ни молвятъ, но суть делани <...> в древе» [1, стб. 82, под 983 г.]).

Мотив почти полной мертвосты Исакия понадобился вновь для нужной темы – отчего затем с таким трудом медленно оживал Исакий.

**Опоясывающее сияние.** Опять-таки после большого перерыва в летописи под 1102 г. обнаруживается еще один угрожающий световой мотив: «бысть знаменье на небеси <...> акы пожарная заря от вѣстока, и уга, и запада, и севера; и бысть тако светъ всю ночь, акы от луны полны, светящъся» [1, стб. 276]. К сожалению, все детали «зари» так редки в летописи, что их ассоциативный смысл у летописца приходится определять предположительно, ориентируясь уже на наши ассоциации. «*Пожарная заря*»: при пожаре пламя поднимается снизу вверх; так и эта светящаяся «заря» поднималась снизу. «Заря <...> акы от луны полны, светящъся»: т. е. «заря» напоминала не луну, а нечто внизу, освещенное лунной или светящееся по-лунному достаточно различимо, отчего использовано сравнение именно с полной луной. «Заря от вѣстока, и уга, и запада, и севера»: зарево целиком опоясывает горизонт, так как перечень сторон света у летописца следует по кругу, по часовой стрелке. Зловещая окруженность стеной зарева – что-то будет?

Подведем итог нашим некоторым наблюдениям над изобразительно-эстетическими деталями в летописи. Летописец не ставил себе целью изобразительность всего летописного изложения. Поэтому в летописи сравнительно мало эпизодов с изобразительными мотивами, и эти мотивы мимолетны и разнородны. Единственное, что можно добавить: большинство изобразительных мотивов приходится на самую начальную эпическую часть летописи, что позволяет предполагать использование изобразительных деталей из легенд при их пересказе летописцем в «Повести временных лет», а также не только текстологическое, но и художественное влияние письменных источников, в частности, конечно, «Хроники» Георгия Амартола.

В подтверждение последнего замечания приведем из «Хроники» лишь один пример из очень многих<sup>1</sup>. Поза: некий правитель-победитель врагов на некое место «вшедь, и с коня сседъ, и въдруживъ плесну въ землю, градъ ту созда» [2, с. 36] – водружение ноги как признак гордости и властности персонажа. Ср. в «Повести временных лет»: князь Олег после победы над греками «прииде на место <...> и сседе с коня <...> и вступи ногою на лобъ» конский, лежавший на земле [1, с. 39, под 912 г.] – та же гордая поза властителя, как бы победителя смерти, предсказанной ему.

<sup>1</sup> «Хроника» Георгия Амартола цит. по: [2].

Гораздо больше в «Повести временных лет» не столько изобразительных, сколько выразительных деталей, когда для выделения какого-либо качества персонажа летописец использовал необычные, редкие для летописи детали, без указания своих ассоциаций на этот счет. Самыми броскими были подчеркивания качества, обозначенные в эпизоде тремя необычными, но однотипными деталями сразу. Например, грузный польский король Болеслав: «череву <...> тольстое <...> великъ и тяжекъ, ако и на кони не могы седети» [1, стб. 143, под 1018 г.]; или нарядный бес: «виде <...> беса въ образе ляха, в луде и носяща в приполе цветкы» [1, стб. 190, под 1074 г.]; мощная рука: «похвати быка рукою за бокъ и выня кожу съ мясы, елико ему рука зая» [1, стб. 123, под 992 г.].

Естественно, менее броскими у летописца представляли указания качества, обозначенные единичными редкостными деталями (ср. в том же рассказе под 1074 г. бесчувственный Исакий: «ногама босыма ста на пламени» [1, стб. 196]; пленные мучимые: «вяжемы и пятами пхаеми» [1, стб. 223]; «опустневше лица, почерневше телесь» [1, стб. 225]; опустошение: «видимъ нивы поростыше зверемъ жилища быща» [1, стб. 224] и пр.). Выразительны были также и необычные сравнения (например: «свет восья <...> яко зракъ вынимаю человеку» [1, стб. 192, под 1074 г.]; Исакий после паралича «на ноги нача встаяти, акы младенецъ» [1, стб. 194, под 1074 г.]). Летописец явно ценил так называемые яркие детали и регулярно вкраплял их в свои рассказы.

Кроме того, летописец находил очень выразительные глаголы, обозначающие крайне активные действия персонажей. Летописец иногда непосредственно пояснял смысла таких глаголов (например: «люди <...> ся мыють и хвоцются <...> возмутъ на ся прутье младое» [1, стб. 8]; «кажють на железо и помавають рукою, просяще железа» [1, стб. 235, под 1096 г.]). Такие необычные для летописи «сочные» глаголы выступали и как зримая причина трагических событий (например: «вои <...> теснячеса, другъ друга пихаху въ гроблю» [1, стб. 74, под 977 г.]; «вынемъ топоръ, ростя и, и паде мертвъ» тот, кого зарубили [1, стб. 181, под 1071 г.]); или же, напротив, редкостные глаголы обозначали впечатляющее следствие событий (опять же приведем только некоторые примеры: Исакий «подъ ся поливаше многажды, и червье *выкынахуся* подъ бедру ему» [1, стб. 194, под 1074 г.]; Феодосий «лежащъ мощьми, но <...> власи главнии *притяскли* бяху» [1, стб. 211, под 1091 г.]). Наконец, подобные глаголы подчеркивали резкость действия (Святополк Окаянный «в немощи лежа, и *въсхопивься*» [1, стб. 145, под 1019 г.];



«вои <...> еще дышнющимъ конемъ *сдираху* хзы с нихъ» [1, стб. 154, под 1042 г.]; и пр.).

Добавим, что подобными глаголами летописец мог выразительно же выделять не активность, а резкую же заторможенность действия («кудесникъ же лежаше *оцепеневъ*» [1, стб. 179, под 1071 г.]; «половецъ <...> страх нападе на ня <...> и *дремаху* сами и конем ихъ *не бе спеха* в ногахъ» [1, стб. 278, под 1103 г.]). Летописное повествование почти повсеместно было выразительным.

Использовались (но редко) даже звуковые детали (ср.: «сediaше, акы *немъ* <...> удавиша и рамяно, яко персем *троскотати*» [1, стб. 259, 261, под 1097 г.]; «земля *стукну*, яко мнози слышаша» [1, стб. 214, под 1091 г.]).

Необычные же для летописного стиля глаголы летописец, как можно предположить, заимствовал, вероятно, из бытовой речи и устных рассказов (это надо исследовать отдельно). Но почему летописец стремился к выразительности повествования столь постоянно?

В связи с этим обратим внимание на то, как летописец характеризовал свое изложение в летописи. Когда речь шла о развернутом повествовании, летописец обязательно употреблял глагол «сказати» (ср.: «И се да *скажемъ*, что ради прозвася Печерьскыи монастырь» [1, стб. 155, под 1051 г.]; «беси <...> се *скажемъ* о взоре ихъ и о омраченъи ихъ» [1, стб. 179, под 1071 г.]; «*скажу* не слухомъ бо слышавъ, но самъ о семь началникъ» [1, стб. 209, под 1091 г.]; «се же хоцю *сказати*, яже слыша» [1, стб. 234, под 1096 г.] и мн. др.). Глагол «сказати», в отличие от глаголов «рещи» и «глаголати», означал у летописца пространный исторический рассказ («*скажу* ти из начала, чьсо ради <...> [1, стб. 87, под 986 г.]; «много глаголаша, *сказующе* от начала миру» [1, стб. 106, под 987 г.]) или же разъяснение и объяснение («*сказати* книжная словеса и разумъ ихъ» [1, стб. 26, под 898 г.]; «*сказующе* имъ служенье Бога своего» [1, стб. 107, под 987 г.]). Отсюда понятна цель частого использования мелких изобразительных и предметно-выразительных деталей и мотивов в рассказах летописца: для пояснения и убеждения читателей в его толкованиях событий.

Без эмоций также нет литературы. Существовал в рассказах у летописца еще один способ внушения – эмоциональные повторы слов, синонимов и целых выражений. Мы не будем затрагивать летописные отрывки, эмоциональность которых очевидна, – поучения, похвалы, некрологические характеристики, – а сосредоточимся на вроде бы спокойных фактографических рассказах лето-

писца. Оказывается, они тоже пронизаны авторскими настроениями, положительными или отрицательными, которые летописец выразил в тексте повторами и оценками.

Чаще всего это повторы слов, эмоционально значимых. Например, под 1096 г. летописец рассказал о нападении половцев на Киево-Печерский монастырь: «*безбожные же сынове Измаилови высекоша врата манастырю <...> высекающе двери <...> вьжгоша домъ <...> Богородици <...> и зажгоша двери <...> зажигаху двери <...> симъ поганым и ругателем <...> зажгоша дворъ <...> то все оканнии половци запалиши огнем <...> пожгоша святыйи дом <...> безбожнии сынове Измаилеви*» [1, стб. 232–234] – это не просто логически необходимый повтор слов, но намеренное экспрессивное возвращение летописца к одной и той же теме разорения монастыря.

Эмоциональным у летописца мог быть даже повтор одного и того же предлога. Ср. ритмичные выражения об убийстве князя: «*прободень бысть от проклятаго Нерадьця, от дьяволя наученья, от злыхъ человекъ*» [1, стб. 206, под 1086 г.].

Экспрессивностью отличался и повтор синонимов. Ср., например, сообщение об обрах: «*обри <...> примучиши <...> словены и насилье творяху <...> мучаху <...> и Богъ потреби я, и помреша вси, и не остана ни единъ обьрин <...> погибоша <...> ихъ несть племени, ни наследька*» [1, стб. 12].

Повторы же целых выражений тем более были остро эмоциональны. Пример досады летописца: языческие племена «*живяху звериньскимъ образомъ, живуще скотьски <...> живяху в лесе, яко же и всякий зверь*» [1, стб. 13]. Или выражение сожаления: «*быша ему печали <...> печаль бысть ему <...> печаль всташа и недужи ему <...> в болезнех своихъ, разболевшуся ему велми <...> видевь ѿ велми болна суца*» [1, стб. 216–216, под 1093 г.].

Эмоциональная выразительность и изобразительность изложения в «Повести временных лет» – вне сомнений. Чем это объяснить, если последующие летописи XII в. не обладали подобными качествами в такой же мере? Пожалуй, три фактора содействовали выразительности изложения в «Повести временных лет». Во-первых, повлиял стилистический образец – манера предметного повествования в переводе «Хроники» Георгия Амартола. Во-вторых, к выразительности изложения привела ориентация летописца на отбор рассказов преимущественно об уникальных, невиданных на Руси событиях. Ведь тогда летописцу оставалось сопоставлять эти важные русские события не с русскими, а только

с библейскими или хронографическими сюжетами и подчеркивать при этом небывалость случившегося для Руси («сего же не бысть преже в Руси» [1, стб. 209, под 1089 г.]; «не бе сего слышано в днехъ первых в земли Русьсте» [1, стб. 226, под 1094 г.] и др.); поэтому летописец подчеркивал возникновение чего-то впервые («кто въ Киеве нача *первее* княжити» – заголовок летописи; «придоша печенези на Руску землю *первое*» [1, стб. 65, под 968 г.]; «придоша половци *первое* на Русьскую землю воевать <...> се бысть *первое* зло от поганых и безбожныхъ врагъ» [1, стб. 163, под 1061] и мн. др.); летописец отмечал начало явления («*нача* ся прозывати Руска земля» [1, стб. 17, под 852 г.]; «бе *начало* выгнатью братню» [1, стб. 182, под 1073 г.]); указывал на первоначальность объекта («монастырь Печерьскый *старее* всего» [1, стб. 160, под 1051 г.]; «то есть *стареишеи* град въ земли во всеи Къевь» [1, стб. 230, под 1096 г.]).

Кроме того, выразительности повествования содействовал исследовательский интерес летописца. Исследовательской манерой повествования отличается вся «Повесть временных лет», особенно в первой ее половине. Это настолько очевидно, да и давно замечено учеными, в частности, Д. С. Лихачевым, что не требуется развернутых доказательств наличия именно исследовательской, даже «научной» склонности у летописца. Но вот ее влияние на выразительность описаний?

Ограничимся одним примером. Под 1096 г. летописец рассказал о далекой северной земле, детально показав ее загадочную таинственность: «горы <...> им же высота, яко до небесе, и в горах тех кличъ великъ и говоръ, и секуть гору, хотяще высечися, и в горе тои просечено оконце мало, и туде молвять, и есть не разумети языку ихъ, но кажють на железо» и т. д. [1, стб. 235] – почти все детали резко необычны, – «дивьно <...> чюдо». Исследовательский подход летописца отразился в этой предметной картине: высота и расположение гор («суть горы заидуче в луку моря»); что за народ, чем занимается, как общается и как совершает обмен («и аще кто дасть имъ ножъ ли, ли секиру, и они дають скорою противу»); какова его доступность («есть же путь до горъ техъ непроходим пропастьми, снегом и лесом»); когда сделаны наблюдения («се же третьи лето поча быти»); и, наконец, обширное, так сказать, «научное» толкование феномена («си суть людье, заклепении Александром Македоньскимъ царемъ» и пр.).

Однако подобные перечисленные черты летописца как писателя лишь дополнительно вносили ту или иную «окраску» в

повествование летописи. Главными же факторами создания собственно образов являлись уже иные качества летописца.

Как, например, сформировался образ таинственной и злоеющей северной земли в рассказе под 1096 г.? Во-первых, благодаря эмоциональному представлению летописца об опасной безлюдности местности вокруг гор и самих гор. Ассоциация, выраженная летописцем прямо: «путь до горъ техъ непроходим пропастьми, снегом и лесом; тем же не доходим ихъ всегда» [1, стб. 235] (ср.: «поча ходити по дебремь и по горамъ <...> единъ <...> уединивься» [1, стб. 156, 158, под 1051 г.]). Ассоциации скрытые укажем по ходу рассказа. «Суть горы заидуче в луку моря»: море и соседство с морем у летописца всегда опасно (ср. явно экспрессивные высказывания о море в других местах летописи: «ли с моремъ кто светень? Се бо не по земли ходимъ, но по глубине морьстеи: обьча смерть всемъ» [1, стб. 46, под 944 г.]; «притисну ю къ морю <...> изведе ны на смерть» [1, стб. 95, под 986 г.]; «морю <...> абье буря вьста с ветромъ и волнамъ вельямъ вьставшемъ засобъ <...> корабля смяте <...> и избии я» [1, стб. 21, под 866 г.]; «бысть буря велика и разби корабли <...> избиило море русь» [1, стб. 154, под 1043 г.]; «пленники <...> в море вметаху» [1, стб. 38, под 907 г.]; «вметахуся вь воду морьскую, хотяще убрести» [1, стб. 44, под 941 г.]).

Следующая скрытая предметно-эмоциональная ассоциация летописца о горах: «горы <...> им же высота яко до небесе» [1, стб. 235], т. е. эти горы страшны (ср. о высоте до неба и с неба до земли летописец сообщал как о чем-то нехорошем или угрожающем: «на земли <...> здати столпъ до небеси <...>; Богъ <...> разрушити повеле столпъ» [1, стб. 5]; «явися столпъ огнень от земля до небеси, а молнья <...> в небеси погреме» [1, стб. 284, под 1110 г.]; «спаде превеликъ змии отъ небесе, и ужасошася вси людье» [1, стб. 214, под 1091 г.]; «теченье звездное бысть на небе, оторваху бося на землю, яко видящим мнети кончину» [1, стб. 165, под 1065 г.]; «Богъ <...> вспотивься, отерся ветъхомъ и верже с небесе на землю <...> и створи дьяволь человека» [1, стб. 177, под 1071 г.] и др.).

Теперь укажем некоторые ассоциации летописца о неведомом народе, который отделен от мира высокими горами («горы высокия <...> ступишася о них» [1, стб. 236]). Добавочная, но уже скрытая ассоциация летописца об отделенности народа: «в горе тои просечено оконце мало, и туде молвятъ <...> помавають рукою» [1, стб. 235]. «Оконце» всегда ассоциировалось у летописца как отделяющий объект (ср.: «затворися в печере <...> и подаваше

ему оконцемъ, яко ся вместяше рука» [1, стб. 192, под 1074 г.]; «стояще доле, князю же из оконця зрящю» [1, стб. 171, под 1068 г.] и др.).

Еще одна скрытая ассоциация летописца – о зловещей опасности такого народа: этот народ не виден, хотя его присутствие ощущается («в горах тех кличь великъ и говоръ» [1, стб. 235]. Невидимые, но как-то себя проявляющие объекты всегда казались летописцу зловещими (ср.: «рищюще беси <...> на конихъ, и не бе ихъ видети самехъ, но конь ихъ видети копыта, и тако уязвляху люди» [1, стб. 215, под 1092 г.]. Впрочем об этом зловещем народе летописец затем высказался прямо: «осквернять землю <...> в последняя же дни <...> си сквернии языки» [1, стб. 236]. Так из сочетания предметных деталей с неявной прибавкой ассоциаций получилась у летописца зловещая картина северной земли.

Добавим, что при цитировании и даже при сокращенном пересказывании устных и переводных источников летописец обычно выбирал из них отрывки с предметным содержанием и таким образом «сгущал» изобразительность и выразительность повествования – опять же об уникальных явлениях и событиях. Например, рассказ под 941 г. о поражении русских от греков был составлен, как установил А. А. Шахматов [3, с. 54–57, 69–72], из текстов продолжателя «Хроники» Георгия Амартола и «Жития Василия Нового». Летописец оставил только предметные описания, в том числе изобразительный мотив «технологичности» поведения сторон: русь «попленивше <...> овехъ растинаху; друтии, аки странъ (мишень) поставляюще, и стреляху в ня; изимахуть, опаки руце съвязывахуть, гвозди железный посреди главы въбивахуть имъ»; а греки «въ лядехъ со огнемъ и нача пуцати трубами огонь на лодье руския. И бысть *видети страшно чудо*» [1, стб. 44]. Кроме того, летописец усилил и выразительность изложения за счет сочетания необычных для летописи глаголов: «русь же видяци пламянь, *вметахуся* въ воду морьскую, хотяще *убрести* <...> яко же молонья <...> *жагаху* насъ» [1, стб. 44–45]. Вот почему «Повесть временных лет» оказалась ярким и захватывающим произведением.

Летописцу явно помогло художественное воображение, он предметно представлял целое (горы, лукоморье, пропасти, снег, леса) и одновременно замечал мелкие детали (оконце, руку в оконце, нож, секиру). Другие проявления такого озадаченного или мрачного воображения встречаются лишь в конце летописи (под 1091 г.: великая заря в поле над монастырем, свечи многие над «печерою», сохранившиеся волосы на голове погребенного.

Под 1093 г.: запускание городов, сел и нив от нашествия половцев, пихание пленников пятами, осунувшиеся их лица, почерневшие тела, ноги в колючках и пр.). Это воображение современника событий.

Создать же образ северной земли и ее народа помогло летописцу также владение выразительным словом. В частности, слова «высечися» и «кликь» скрыто ассоциировались в этом рассказе летописца с обозначением агрессивного и устрашающего напора персонажей (ср. в других рассказах более ясную связь. Агрессия: «половци <...> кликнуша <...> высекоша врата <...> высекающе двери» [1, стб. 232, под 1096 г.]; взбунтовавшиеся «людье же кликнуша <...> высекоша Всеслава ис поруба» [1, стб. 171, под 1068 г.]; «кликнуша и посекоша сени под нима, и тако побиша я» [1, стб. 83, под 983 г.]. Устрашение: «людье во граде кликнуша <...>; печенези же <...> побегоша разнот града» [1, стб. 65, под 968 г.]; «кликнуша, и печенези побегоша» [1, стб. 123, под 992 г.]; «кликнуша на них, поовцы же ужасошася» [1, стб. 282, под 1107 г.].

Отметим еще одно выразительное средство в рассказе о северной земле – словосочетание предметного глагола или прилагательного с предметным существительным в творительном (орудийном) падеже: «помавають рукою <...> дают скорою <...> непроходим пропастьми, снегом и лесом <...> помазашася сунклитом» [1, стб. 235–236]. Так усиливалась представимая «вещность» предмета (ср. пояснение тут же: «вещь бо сунклитова сица: е ни огонь можетъ вжещи его, ни железа его приметь»). Такие словосочетания летописец использовал постоянно (например: «лежащ мощьми, но сстави не распалися беша» [1, стб. 211, под 1091 г.]; «преторже череве рукама» [1, стб. 123, под 992 г.]; «облеются водою студеною» [1, стб. 8] и мн. др.).

Итак, три фактора порождали именно образ в летописном повествовании: во-первых, предметное воображение летописца; во-вторых, окрашенность речи эмоцией; и, в-третьих, умение выразить все это в слове. Еще многое не замечено в летописи как памятнике литературы.

## 2. Эстетика чувств в «Повести временных лет»

Этой теме эпизодически касались И. П. Еремин, Д. С. Лихачев, О. В. Творогов, А. А. Пауткин. Очевидные факты выявлены. Мы же в предлагаемом очерке, продолжая наш первый очерк, попытаемся обозреть сами чувства летописца и персонажей в летописи.

**Чувства летописца.** Прямо свои чувства летописец выражал в поучительных комментариях к событиям и в возвышенных похвалах. Но летопись покрыта тонкой, так сказать, эмоциональной пленкой, оттого что летописец скрыто, но настойчиво проявлял свои чувства в структуре своих высказываний, повторяя и повторяя «эмоциональные» слова.

Какие это чувства? Безусловно, преобладало сочувствие летописца жертвам нападений и войн<sup>1</sup>. Вот, например, рассказ об обрах и дулебах. На эмоциональность рассказа мы уже обратили внимание в предыдущем очерке данной работы. Теперь уточним само чувство. Повторы слов с трагическим оттенком выразили сочувствие летописца дулебам: «обри <...> примучишиа дулебы <...> и насилье творяху женамъ дулепскимъ: аще поехати будяше обьрину, не дадыше въпрячи коня, ни вола, но веляше въпрячи 3 ли, 4 ли 5 ли женъ в телегу и повести обьрена, – и тако мучаху дулебы» [1, стб. 11–12]. Слово «мучити» у летописца действительно ассоциировалось с чем-то трагическим (ср. в летописи контекст вокруг этого слова: «мучими будут в огни» [1, стб. 106, под 986 г.]; «вечно мучимъ есть связанъ» [1, стб. 145, под 1019 г.]; «земля мучена бысть: ови ведутся полонени, друзии посекаеми бывають <...> мучимы, зимою оцепяеми» [1, стб. 223, 225, под 1093 г.]). Слово «насилие» по своему смыслу приближалось к слову «мучение» (ср.: «насылъствующая сироте и вдовици» [1, стб. 168, под 1068 г.]).

Еще настойчивее сочувствовал летописец раненым. Вот, например, ослепили Василька Теребовльского: «хотяща и повреци <...> и не можаста его повреци и <...> повергоша и <...> и изя зеницю <...> и изя другую зеницю, и <...> бысть яко мертвъ, и взявше и <...> яко мертва <...> яко мертву сущю оному» [1, стб. 260–261, под 1097 г.]. Повтором «трагических» слов «повергнути» и «мертвъ» летописец подчеркнул свое сочувствие ослепленному (ср. в летописи контекст вокруг этих слов: «убьену бывшую и повержену на брезе» [1, стб. 137, под 1015 г.]; «ляжемъ костьми мертвы» [1, стб. 70, под 971 г.]; «падаху язвени <...> погыбоша и быша мертви» [1, стб. 221, под 1093 г.]; «акы по мертвеци плакахся» [1, стб. 119, под 988 г.] и др.).

Наконец, сочувствие летописца переходило в отчаяние при описании разорения Русской земли половцами в 1093 г. Множество трагических повторов звучат в рассказе: «се <...> страшнее, яко на христианьсте роде страхъ и колебанье <...> го-

<sup>1</sup> «Повесть временных лет» цит. по: [1].

роди вси *опустеша*, села *опустеша* <...> все *тоще* ноне» [1, стб. 223–224]. Летописец – это лирик.

Далее. Теплые чувства, близкие к сочувствию, испытывал летописец к больному старому князю, повторяя «печальные» слова: «быша ему *печали* <...> *печаль* бысть ему <...> *печаль* всташа и *недузи* ему, и приспеваше *старость* к симъ <...> в *болезнях* своихъ, *разболевшюся* ему велми <...> *видевъ и́ болна* суца <...> *преставися тихо и кротко*» [1, стб. 216–217, под 1093 г.].

Также с некоторой теплотой относился летописец к монахам-подвижникам при описании условий их жизни. Тут в дело вступали уменьшительно-ласкательные слова (ср.: «затворися <...> въ *кельици* мале, яко четыре *лакотъ* <...> *подаваше* ему *оконцемъ*» [1, стб. 192, под 1074 г.]).

Другие, уже не лирические чувства выражались летописцем гораздо реже, и вторым по частоте выражения были неприязнь и отвращение летописца к враждебным язычникам и иноверцам. Так, нечистоту с омерзением подчеркивал летописец у таких персонажей («*ядуще* все *нечисто*» [1, стб. 13]; «*ядуще мерътвечину* и всю *нечистоту* – *хомеки* и *сусолы*» [1, стб. 16]; «*оскверняет* небо и землю <...> *скверны* деющая <...> *творять* ту же *скверну*» [1, стб. 86, под 986 г.]). Уроды тоже внушали летописцу отвращение («*дептиць* <...> на *лици* ему *срамнии* *удове*, иного *нелзе* казати *срама* ради» [1, стб. 164, под 1065 г.]).

Сюда же примыкало и ощущение ложности красоты идолов и бесов. Например: «постави <...> Перуна *древяна*, и главу его *сребрену*, и усь *златъ* <...> и *оскверняху* землю <...> и *осквернися* <...> земля Руска» [1, стб. 79, под 980 г.] (ср.: «кумиры творити ови *древяни*, ови *медяны*, и *друзии* *мрамаряны*, а иные *златы* и *сребрены* <...> и *бе* вся земля *осквернена*» [1, стб. 91, под 986 г.]). Эта красота бесов приносила вред («2 *уноши* <...> *красна*, и *блиста*ста *лице* ею, акы *солнце*» – «яко *зракъ* *вынима*я *человеку*» [1, стб. 192, под 1074 г.]; «*виде* <...> *беса* въ *образе* *ляха*, в *луде*, и *носяща* в *приполе* *цветкы*», *усыпляющие* *монахов* [1, стб. 190, под 1074 г.]). В своих эмоциях летописец не был однообразен.

Еще одним более или менее заметным чувством летописца было ощущение тревожности, связанное с битвами, когда неизвестно, кто победит (ср. повторы: «*бывши* *нощи*, *бысть* *тма*, *молонья*, и *громъ*, и *дождь* <...> и *бысть* *сеча* *силна*, яко *посветяше* *молонья* <...> и *бе* *гроза* *велика* и *сеча* *силна* и *страшна*» [1, стб. 148, под 1024 г.]; «*бысть* *полунощи* <...> *поча* *выти* *волчьскы*, и *волкъ* *отвыся* *ему*, и *почаша* *волци* *выти* *мнози*» [1, стб. 270–271, под 1097 г.]).



Наконец, летописцу было свойственно и тревожное удивление, что также выражалось в повторах («се же бысть *дивно-чюдно*, яко за 2 лета лежа си, ни хлеба не вкуси, ни воды, ни овоща, ни от какаго брашна, ни языкомъ проглагола, но немъ и глух лежа за 2 лета» [1, стб. 194, под 1074 г.]; «*предивно* бысть чюдо <...> рищюще беси; аще кто *вылезаше ис хоромины* <...> уязвень будяше <...> язвою <...> и не смяху *излазити ис хоромъ* <...> и тако уязвляху люди» [1, стб. 215, под 1092 г.].

Кроме того, скрытое тревожное беспокойство испытывал летописец за судьбу Киево-Печерского монастыря. Оттого он под 1074 г. указал на неуверенность Феодосия Печерского в будущем монастыря, на уходы монахов из монастыря, на появления бесов в монастыре, а под 1096 г. рассказал о нападении половцев на монастырь. Все эти неблагоприятные экспрессивно изложенные эпизоды летописей завершал успокоительными замечаниями и обещаниями.

Следует оговорить, что на материале летописи не всегда удастся доказать, что повторяемые в рассказе слова и словосочетания летописец действительно наполнял той или иной экспрессией. Многие структуры хаотичны.

Обратим внимание на еще одно явление. С большой долей вероятности можно предполагать и некоторое эстетическое отношение (это тоже чувство) летописца к своему повествованию: отсюда его склонность к пословичным «притчам» и красивым цитатам; оценки стиля («хитро сказажуще» [1, стб. 106, под 987 г.]; «просторекъ» [1, стб. 208, под 1089 г.]; «слова величава» [1, стб. 230, под 1096 г.]; а также экспрессивные параллелизмы летописца о самом себе:

яко же последи скажемъ,  
мы же на преднее възвратимся [1, стб. 79, под 980 г.];  
но мы на предняя взратимся,  
яко же бяхом преже глаголали [1, стб. 236, под 1096 г.];  
се бо азъ грешный  
много и часто Бога прогневаю  
и часто согрешаю по вся дни [1, стб. 225, под 1093 г.].

Летописец эстетически был чувствителен к языку.

**Чувства персонажей.** Отчетливое изображение (а не просто фиксация) чувства персонажа у летописца обычно состояло из названия чувства и из экспрессивных предметных деталей, опи-

сывающих внешне, физические проявления чувства человека. Какие чувства на этот раз?

Чаще всего в летописи, произведении воинском, изображался панический страх одной из воюющих сторон во время битвы. Конечно, страх доказывался бегством с поля боя, а изображался тем, каким способом о нем было сказано. Самый ранний пример в летописи находим под 941 г. в рассказе о неудачном походе незадачливого князя Игоря Рюриковича на греков, которые применили неведомое оружие – огнемёт – против флота русов. Летописец не только обозначил чувство руси: «бысть видети страшно чудо» [1, стб. 44] – страх и потрясение; но летописец повтором экспрессивных деталей именно изобразил, что потрясло русов и как они испугались: греки встретили русских «въ лядехъ со огнемъ и пушати нача трубами *огнь* на лодье руския <...> русь же, видящи *пламянь, вметахуся* въ воду морьскую, хотяще *убрести*». Редко употребляемые экспрессивные глаголы «вметатися» и «убрести» добавили выразительности в картинку паники русов.

Иногда летописец обходился лишь одной деталью, но тоже экспрессивной. Например, под 1107 г.: русские князья «идоша на половци <...> Половци же ужасошася, от страха <...> *побегоша, хватающе* кони, а друзии пеши *побегоша*» [1, стб. 282] – редкий для летописи экспрессивный глагол «хватати что-либо» выразительно подчеркнул панику половцев. Иногда же летописец не называл подразумеваемого чувства персонажей, указывая только проявления паники. Например, под 977 г.: «побегшую <...> *теснячяся, другъ друга пихаху* въ гроблю» и пр. [1, стб. 74] – опять редкие экспрессивные глаголы создавали картину паники.

Вторым по частоте упоминания в летописи было горе убиваемых или мучимых персонажей. Но упоминания были традиционные: плач, слезы, вопль, стенанья. Только однажды, при изображении мучений русских людей, плененных половцами, летописец ввел более выразительные детали повсеместного отчаяния: «вся полна *слезъ* <...> *плачь* по всемъ улицам упространися избыенных ради <...> *со слезами* <...> *въздышюче, очи возводяще* на небо» [1, стб. 224–225]. Сюда же относилось изображение горестной тревоги персонажей при небесных знаменьях: «сия видяще знаменья <...> *со въздыханьем* моляхуся <...> и *со слезами*» [1, стб. 276].

Прочие чувства персонажей летописец изображал очень редко. Смирение и внимание: «поклонивши главу, стояше, *аки губа напаяема, внимаючи* ученья» [1, стб. 61, под 955 г.]; омерзение: «*плюну* на землю» [1, стб. 86, под 986 г.]; потрясение: «ужасть

обиде <...> и падъ ниць, просяше прощенья» [1, стб. 182, под 1072 г.] и т. д. – все это религиозные эпизоды.

Кроме изображения был у летописца еще один способ косвенного указания на настроение персонажей – их речи. Речи, содержавшие повторы или переключки слов между параллельными фразами, обычно отличались экспрессией и отражали прямо не названные настроения летописных героев.

Обратимся к структуре речей. Наиболее частыми в летописи были речи с двумя парами переключек. Вот первый пример. Олег, узнав о смерти любимого коня, сказал:

*конь умерль есть,  
а я живъ* [1, стб. 39, под 912 г.].

Перекликаются слова «конь» – «я» и противопоставленные «умерль» – «живъ». Именно для речей Олега в летописи были характерны афористические противопоставления («вы неста князя, ни рода княжа, но азъ есмь роду княжа» [1, стб. 23, под 882 г.]; «не дайте козаромъ, но мне дайте» [1, стб. 24, под 885 г.]; «то ти неправо глаголють вольсви, но вся лож есть» [1, стб. 39, под 912 г.]).

Эти жесткие противопоставления в речах Олега, как нам кажется, скрыто выражали представление летописца о решительности этого князя. Правда, такое или подобное качество Олега летописец нигде не называл даже косвенно. Но обратимся к смыслу аналогичных противопоставительных речей персонажей в летописи – контекст свидетельствует об их решительности (Святославъ: «да не посрамимъ земле Руские, но ляжемъ костьми <...> станемъ крепко» [1, стб. 70, под 971 г.]; Владимир: «убью брата своего <...> не азъ бо почаль братью бити, но онъ» [1, стб. 76, под 980 г.]; варяг-христианин о языческом жертвоприношении: «не суть то бози, но древо <...> но суть делани руками в дереве <...> си бози что сделаша? – сами делани суть. Не дамъ сына своего бесомъ» [1, стб. 62–63, под 983 г.]).

У высказывания Олега об умершем коне контекст тоже свидетельствовал о решительности князя. Ведь Олег до того резко отказался от этого коня: «Николи же всяду на нь, ни вижю его боле того» [1, стб. 38, под 912 г.]. Решительна и поза Олега, произнесшего речь: «и *въступи ногою на лобъ*» (на череп коня). Это обозначение позы победителя (ср. в летописи: «врага *попирающе подъ нозе*» [1, стб. 85, под 985 г.]; «покорита поганья *подъ нозе* княземъ нашимъ» [1, стб. 139, под 1015 г.] и др.).

Обычно подобные простейшие структуры экспрессивных речей с противопоставлением слов отражали решительность летописных персонажей. Ср. уже цитированное высказывание варяга-христианина по поводу жертвоприношений языческим богам и контекст:

*А си бози что сделаши?  
Сами делани суть.  
Не дамъ сына своего бесомъ [1, стб. 82–83, под 982 г.].*

Решительность русских воинов:

*пойдита на половци,  
да любо будем живи,  
любо мертви [1, стб. 277, под 1103 г.].*

Перейдем к экспрессивным высказываниям более сложным по структуре – с тремя и четырьмя парами перекликающихся слов. Картина оказалась той же: у летописца безусловно преобладало представление о решительности персонажей. Решительный настрой половцев на войну:

*аще ты боишися руси,  
но мы ся не боимъ <...>  
пойдемъ в землю ихъ  
и примемъ грады ихъ [1, стб. 278, под 1103 г.].*

Решительное желание мира русскими и болгарями:

*толи не будетъ межю нами мира,  
елико камень начнетъ плавати,  
а хмель почнетъ тонуть [1, стб. 84, под 985 г.].*

Решительное отвержение бесов монахом:

*вы есте тма,  
и во тме ходите,  
и тма вы ятъ [1, стб. 197, под 1074 г.].*

Решительное утверждение порядка действий, военных и религиозных:

*сребромъ и златомъ не имамъ налести дружины,  
а дружиною налезу сребро и злато* [1, стб. 126, под 996 г.].

Но в высказываниях с удлинением и усложнением цепи словесных переключек экспрессивность терялась и заменялась более спокойной повествовательной назидательностью. Ср.:

да аще есть право молвилъ Давидъ,  
да приметъ Василко казнь;  
аще ли неправо глагола Давидъ,  
да прииметъ мечь от Бога  
и отвечает пред Богомъ [1, стб. 260, под 1097 г.].

В общем же, летописец изображением чувств и решительностью речей придал героический драматизм летописному повествованию.

### 3. Внутренние монологи литературных героев у некоторых древнерусских авторов

Не о молитвах героев будем говорить, а о внутренних речах героев, обращенных к самим себе. Что это за неизученное явление поэтики и в чем его смысл? Ведь подавляющее большинство речей персонажей в древнерусской литературе было обращено вовне, к другим людям.

Кратко изложим историю внутренних речей. Пожалуй, самым ранним древнерусским произведением, в котором обильно использовалась внутренняя речь героев, было «Сказание о Борисе и Глебе»<sup>1</sup>. Борис произносил три внутренние речи, убийцы Бориса и Святополк Окаянный – по одной. Пожалуй, первым исследователем, кто указал на внутренние монологи в «Сказании» как на литературную форму, был И. П. Еремин [2, с. 23–24]. Кое-что добавим к его наблюдениям.

Автор «Сказания» специально подчеркивал скрытость таких речей: *«въ сердци си начать сицевая вещати»* [1, с. 29]; *«и си на уме си помышляя <...> и глаголаше въ сьрдьци своемъ <...> помышлаше же въ уме своемъ»* [1, с. 30]; *«помышляеть же въ сьрдьци своемъ <...> и глаголааше»* [1, с. 31]; *«и къждо въ души своеи стопааше»* [1, с. 36]; *«глаголааше бо въ души своеи»* [1, с. 38].

<sup>1</sup> «Сказание о Борисе и Глебе» цит. по: [1].

Частота авторских оговорок, возможно, свидетельствовала о необычности такой литературной формы, как внутренняя речь. Во всяком случае автор объяснял, отчего так получилось (это отметил И. П. Еремин): например, Борис от великого горя не мог говорить вслух («начать телъмь утьрпывати, и лице его вьсе слъзь испълняся, и слъзами разливаяся, и не могый глаголати» [1, с. 29]); а Святополк Окаянный только внутренне высказал «желание срьдца своего», потому что «въниде въ срьдце его сотона и начаты ипострекати» [1, с. 38].

На еще недостаточную выработанность формы внутреннего обращения героя только к самому себе указывает также примешивание иных адресатов речи: Борис одновременно внутренне обращается и к своему отцу и занимается философскими рассуждениями о княжеской жизни, а убийцы Бориса целиком заняты похвалой мученику.

Суть же внутренних речей героев заключалась в выражении их некоторой растерянности («Къ кому прибегну <...> душа ми съмысль съмущаеть, и не вемъ, къ кому обратитися <...> Темъ же что реку иль чьто сътворю?» [1, с. 29–30]; «что сътворю?» [1, с. 38]; «кто уже си вься исправить?» [1, с. 37]); а затем – в формулировке точного плана действий (Борис: «мученикъ буду <...> Се да иду къ брату моему <...> пролееть кръвь мою» 29–31]; Святополк: «приложю къ безаконию убо безаконие» [1, с. 39]). Благодаря внутренним монологам героев демонстрировалась их исключительная целеустремленность (Борис «забывъ скърбь съмъртнюю, тешааше срьдце свое» [1, с. 31]; Святополк «на братоубийство горяща» [1, с. 32] и пр.).

Но и «хорошая», и «плохая» целеустремленность, и ее отсутствие (у молоденького Глеба) завершались одинаково – трагической гибелью героев. Эти смерти автор «Сказания» трактовал как спасение для своих современников: «вьсяка пагуба да не наидеть на ны <...> ни умрети горькою съмъртию» [1, с. 51].

В последующей древнерусской литературе внутренние речи персонажей к самим себе почти совсем не использовались книжниками и не стали отчетливой повествовательной формой. Лишь в XVII в. в некоторых повестях об отдельных личностях эпизодически начали цитироваться внутренние монологи персонажей<sup>1</sup> – обычно растерянные («розмышляя в себе: “Что ми прилучися? <...> Что ми приключися?”» [4, с. 268]; «помышляше в себе:

<sup>1</sup> Повести XVII в. (чаще в списках XVIII в.) цит. по: [4].

“Како <...> азъ таковое скверное дело сотворити похощу?”» [4, с. 41]; «размышляше в себе: “Како я приду и что себе сотворю?”» [4, с. 72] и т. д. и т. п.); но тут же персонажи переходили к конкретному плану действий («рече <...> к себе сице: “Шедъ, посещу аз зятя своего <...> в дому его и пребывати <...> во своя возвращающа”» [4, с. 107]; «помысли в себе, глаголя: “Аще ли поиду к великому князю <...> однако не хощу в доме его быти”» [4, с. 118]; «и рече Андрей себе: “Иду во град Критъ <...> и град Крит зажгу, а людей в пленъ возму, а епископа убью”» [4, с. 272]). Все эти однообразно обозначаемые внутренние монологи персонажей так или иначе были связаны с приключенческими сюжетами.

К эмоциональным внутренним монологам вернулся протопоп Аввакум в своем «Житии»<sup>1</sup>. Его раздумья превратились в целый процесс, так как Аввакум неукоснительно указывал свою позу при размышлениях («*сидше, рассуждаю*» [3, с. 24]; «*сидя, рассуждаю*» [3, с. 46]; «*лежа, на ум взбрело*» [3, с. 33]; «*помышляю, лежа*» [3, с. 77, примечание 62] и пр.). Внутренние речи выражали редкое для рьяного Аввакума чувство – грустную обеспокоенность и жалость («что се видимое?» [3, с. 24]; «на такое безумие пришел! Увы мне!» [3, с. 33]; «да што же делать? <...> терпеть, горемыка, до конца» [3, с. 36]; «опечался» [3, с. 46]; «увы, Аввакум, бедная сиротина, яко искра огня, угасает» [3, с. 77]; «и нынеча мне жаль курочки той, как на разум приидет» [3, с. 39] и т. п.). Разнообразие форм и простота языка этих внутренних речей отражали трагизм судьбы Аввакума.

Сподвижник Аввакума Епифаний в своем «Житии»<sup>2</sup> даже чаще Аввакума использовал внутренние речи, но однообразнее и, кажется, подражательно (ср.: «аз стал тужить, глаголя: “Что будет?”» [5, с. 191]; «аз же, лежа, помышляю: “Что се бысть?”» [5, с. 193]; «глагола в себе: “Господи! Что се хочет быти?”» [5, с. 196]; «и рекох себе: “Что се будет видение?”» [5, с. 200] и т. д.).

В истории древнерусской литературы внутренние монологи персонажей являлись «дремлющим» средством, пробуждавшимся, когда описывались большие трудности в жизни героев.

<sup>1</sup> «Житие» протопопа Аввакума цит. по: [3].

<sup>2</sup> «Житие» Епифания цит. по: [5].

#### 4. Словесная эстетика переписчиков «Задонщины»

Памяти Руфины Петровны Дмитриевой

Отразились ли в списках «Задонщины» эстетические представления книжников XV–XVII вв. о красоте повествования? Тема неисследованная, потому что исследователей интересовала преимущественно текстология «Задонщины» и ее тематика. При этом иногда делались лишь единичные краткие попутные замечания о напевности «Задонщины» (С. К. Шамбинаго) или о нарушении в ней ритмики «Слова о полку Игореве» (В. П. Адрианова-Перетц). Сами редакторы и переписчики «Задонщины» не теоретизировали насчет эстетики высказываний. Приходится опираться на практику их повествования в списках «Задонщины».

Некоторые оценки в списках «Задонщины» все же указывают на внимание книжников к слову, возможно, к красоте, выразительности, эмоциональности фраз. Эти высказывания не восходят к «Слову о полку Игореве» и относятся к стилю именно «Задонщины»<sup>1</sup>: «похвалим гуслями и песнями и буиными словесы» [4, Син., с. 551]; «восхваляя ихъ песни и гуслеными буиными словесы» [4, Кир., с. 548] (в изводе Ундольского явное искажение: «иними словесы <...> буяни словесы» [4, Ист. 1, с. 541]; «иными словесы» [4, Унд., с. 535]. Почти все списки согласны в другой эстетической формулировке: «составим слово ко слову» [4, Син., с. 551]; «составим слово к слову» [1, Унд., с. 535]; «составимъ слово къ слову» [4, Ист. 1, с. 541] (в списке Ждан. искажено: «составимъ слово въ слово» [4, с. 548]).

Мы рассмотрим только четыре проявления словесных вкусов у книжников, переписавших «Задонщину». Первое: книжники, по-видимому, считали красивыми фразы из «двустрочий» или «многострочий» с п а р а л л е л и з м о м и переключкой слов. Второе: книжники ценили р и т м и ч н о с т ь изложения, вносимую единообразными началами или концовками соседящих фраз. Третье: книжники подчеркивали выразительность фразы повторяющимися в ней с о з в у ч и я м и . И четвертое: книжники достигали образительности повествования благодаря ярким предметным э п и т е т а м .

Сначала исследуем **Кирилло-Белозерский список** «Задонщины», написанный в 1470–1480-х гг. книжником Ефросином.

<sup>1</sup> «Задонщина» цит. по: [4].



Лишь Я. С. Лурье мельком упомянул «об эстетических склонностях Ефросина» [2, с. 156]. Что же, из всех писцов «Задонщины» наибольшее стремление к стройности фраз, действительно, проявил Ефросин, причем несмотря на то что он резко сократил «Задонщину». Поэтому, по мнению Р. П. Дмитриевой, этот «список лишен некоторых поэтических черт» [1, с. 286]. Но, обратившись к первому признаку красоты речи, к п а р а л л е л и з м а м , заметим, что у Ефросина появились красивые «многострочия», не восходящие к «Слову о полку Игореве» и менее стройные в других списках «Задонщины». Например, торжественная концовка Кирилло-Белозерского списка:

за Русскую землю,  
за святыя церкви,  
за православную веру  
з дивными удалци,  
с мужескими сыны [4, Кир., с. 550].

(В Синодальном списке вообще нет подобной концовки, а в изводе Ундольского она короче и притом спутана: «за святыя церкви, за землю за Рускую и за веру крестьяньскую» [4, Унд., с. 540]; «за Рускую землю и за веру крестьяньскую» [4, Ист. 1, с. 546]).

Таких строк со словесными параллелизмами, не восходящими к «Слову о полку Игореве», в Кирилло-Белозерском списке, правда, мало. Вот лишь еще один пример:

на поля на наши наступають,  
а вои наши отнимають [4, Кир., с. 549].

(В других списках параллелизм искажен или отсутствует: «поля наступають, а хоробрую нашу дружину побывають» [4, Син., с. 555]; «поля наступають, а храбрую дружину у нас истеряли» [4, Унд., с. 539]; «поля наступает» [1, Ист. 1, с. 544]).

Прочие словесные параллелизмы в Кирилло-Белозерском списке так или иначе восходили к «Слову о полку Игореве», но отличались большим стремлением Ефросина к красивой стройности его изложения. Таков самый крупный пример:

Грянуша копия харалужныя,  
мечи булатныя,  
топоры легкия,

щиты московския,  
шеломы немецкие,  
боданы бесерменьския [4, Кир., с. 549].

(В «Слове о полку Игореве»<sup>1</sup> всего лишь: «гремлеши о шеломы мечи харалужными» [3, с. 47]. В других списках «Задонщины» этот мотив обилия оружия повторяется в разных видах в зависимости от начальных слов «гремят», «ударюша», «имеем», «испытает». Ефросин объединил все эти мотивы в единое самое длинное «многострочие».

Ближе всего по приведенному «многострочию» в Кирилло-Белозерском списке является список того же извода – Синодальный, но с некоторым искажением:

по собе маем доспехи позлащенные,  
а шеломы чиркаския,  
а щиты москавския,  
а сулицы немецкие,  
а кофыи фразския,  
а кинжалы мисурскими,  
а мечи булатныя [4, Син., с. 553].

В списках Ундольского и Историческом первом параллелизм выдержан только в пяти строках [4, Унд. 537; Ист. 1, с. 543]. В остальных перечнях оружия словесные параллелизмы не превосходят четырех строк, а чаще составляют по 2–3 строки.)

Более мелких примеров тяготения Ефросина к стройной красивой речи предостаточно. Отметим только самые заметные и выразительные «многострочия»:

Кони ржутъ на Москве,  
бубны бьютъ на Коломне,  
трубы трубятъ в Серпухове  
<...>  
пашутся хоригови берчати,  
светятся калантыри злачены,  
звонят колоколи вечнии  
в Великом Новогороде [4, Кир., с. 548].

<sup>1</sup> «Слово о полку Игореве» цит. по: [3].

(В «Слове о полку Игореве» короче и иначе – не так настойчиво:

Комони ржуть за Сулою,  
звенить слава въ Кыеве,  
трубы трубятъ в Новеграде,  
стоять стязи в Путивле [3, с. 44].

В прочих же списках «Задонщины» искажено и сокращено сравнительно с Кирилло-Белозерским списком: «Кони ирзуть по Москве, трубы трубят у Серпугове, бубны бубнят по Коломне <...> звонят вечныя колоколы у Великом Новегороде» [4, Син., с. 551]; «на Москве кони ржут <...> в трубы трубят на Коломне, в бубны бьют в Серпугове <...> звонять в колоколы вечныя в Великом Новегороде» [4, Унд., с. 536]; «на Москве кони ржуть <...> трубы трубят на Коломне, в бубны бьют в Серпохове <...> звонят колоколы вечныя в Великом Новегороде» [4, Ист. 1, с. 541]).

Или еще пример. Энергично и стройно перечисление:

дети Вольярдовы,  
внучата Едиментовы,  
правнучата Сколдимеровы [4, Кир., с. 549].

(В «Слове о полку Игореве» нет ясного соответствия, разве скупая фраза: «оба есве Святъславличя» [3, с. 48]. В других списках «Задонщины» – более вяло или коротко: «сынове Олгордовы, а внуки мы Доментовы, а правнуки есми Сколомендовы» [4, Унд., с. 536]: «сынов есмо Алгыродовы, а внучата есмо Гедымонтовы» [4, Син., с. 551]; «а внуки есмя Едимантовы» [4, Ист. 1, с. 542]).

«Двустрочные» параллели тоже выдают склонность Ефросина к стройности высказывания:

ступи во свое златое стремя,  
вседъ на свои борзыи конь [4, Кир., с. 549].

(В «Слове о полку Игореве» [3, с. 46] и в других списках «Задонщины» нет второй строки в этом месте [4, Син., с. 532; Унд., с. 537; Ист. 1, с. 542]). Или еще пример из многих. У Ефросина стройный параллелизм:

волци грозно воють,  
лисици часто брешють [4, Кир., с. 549].

(В «Слове о полку Игореве» четкий параллелизм отсутствует: «вльци грозу въсрожать по яругамъ <...> лисици брешуть на чръленыи щиты» [3, с. 46]; в других списках «Задонщины» параллелизм неполный: «волцы грозно выют, а лисици на костех брешут» [4, Син., с. 552]; «а волцы грозно воют, а лисицы на костех бряшут» [4, Унд., с. 537]; «а волцы грозно воюють (!), а лисицы на кости брешут» [4, Ист. 1, с. 542]).

Но параллелизмы в «Задонщине» являлись частным случаем ритмичности повествования за счет единоначатий или однотипных концовок фраз, – это второй признак красивого повествования у переписчиков «Задонщины». Кирилло-Белозерский список кое в чем превосходил списки извода Ундольского. Например:

*Уже бо, брате, стукъ стучить и громъ гремять  
в славне городе Москве.  
То ти, брате, не стукъ стучить, ни гром гремят,  
стучить сильная рать великаго князя Ивана Дмитриевича,  
гремять удалци золочеными шеломы, черлеными щиты*  
[4, Кир., с. 549].

(В «Слове о полку Игореве» похожего отрывка нет. В списках Ундольского и Историческом первом выражение с отрицаниями пропущено.)

В отдельных, но редких случаях Кирилло-Белозерский список был ритмичнее всех остальных списков. Приведем только относительно самый крупный пример:

*Уже, брате, вижду раны <...>,  
уже твоеи главе пасти <...>,  
уже, брате пастуси не кличють,  
ни трубы трубять,  
толко часто вороны грають,  
зогици кокують,  
на трупы падаючи [4, Кир., с. 550].*

(В «Слове о полку Игореве» покороче: «Тогда по Руской земли ретко ратаеве кикахуть, нь часто врани граяхуть, трупиа себе дяляче, а галици свою речь говоряхуть» [3, с. 48]. В Синодальном списке еще короче: «ни ратои, ни постух не покличет, но только часто вороны играют, трупу человеческого чают» [4, Син., с. 54].

В списках извода Ундольского совсем коротко: «ни ратаи, ни пастухи в поле не *кличют*, но едины вороны *грают* – трупы ради человеческия» [4, Унд., с. 538]; «ни пастуси *кличут*, но одне вороне *грають* – трупу ради человеческого» [4, Ист. 1, с. 543]).

В общем, стремление к ритмичности повествования проявилось, но все же не было главной чертой Ефросина.

Теперь перейдем к третьему проявлению красоты фраз – с о з в у ч и я м . Кроме словесных параллелизмов на старания Ефросина украшать речь, возможно, указывают повторяющиеся созвучия в некоторых фразах. Например, ую-ю-ую-у-у-у: «главе пасти на сырую землю, на белую ковылу моему чаду Иякову» [4, Кир., с. 550]. (В «Слове о полку Игореве» такого места нет, а в других списках «Задонщины» эта цепь созвучий нарушена или разрушена: «пасти главе твоеи на траву ковылу, брате чадо Якове, но зелену ковылу» [4, Син., с. 554]; «летети главе твоеи на траву ковыль, а чаду твоему Иякову лежати на зелене ковыле траве» [4, Унд., с. 538]; «голове твоеи летети на траву ковыль, а чаду моему Якову на ковыли зелени не (!) лежати» [4, Ист. 1, с. 543]).

Или еще пример. Подобная фраза дважды повторяется в каждом списке «Задонщины». Второй случай повторения был приведен выше. А вот первый случай, где созвучие наиболее подчеркнута именно Ефросином:

*на поля на наши наступають,  
а вотчину нашу у нас отнимають* [4, Кир., с. 548–549].

(В других списках «Задонщины» нет созвучия: «поля наступають, а хоробруя нашу дружину побивають» [4, Син., с. 583]; «поля руские наступають и вотчину отнимають» [4, Унд., с. 537]; «поля наступають, отнимають отчину нашу» [4, Ист. 1, с. 543]).

Наконец, четвертый признак красоты речи – э п и т е т ы . Проанализируем отношение Ефросина к некоторым особо ярким эпитетам, предметно характеризовавшим внешность и состояние объектов (их цвет, материал изделия, скорость движения). Сравним Кирилло-Белозерский список «Задонщины» сначала со «Словом о полку Игореве». Подбор эпитетов в Кирилло-Белозерском списке (золотой, синий, червленьный, серый, белый, кровавый, харалужный, булатный, острый, быстрый, живой) в общем соответствует «Слову о полку Игореве» и в конце концов взят оттуда. Конечно, в «Слове» эти эпитеты употреблены чаще, чем в коротком Кирилло-Белозерском списке.

Прочие различия связаны с частотой упоминания тех или иных существительных. Так, Ефросин чаще, чем автор «Слова», использовал эпитет «быстрый», потому что чаще поминал Дон. И напротив, несколько эпитетов из «Слова» (серебряный, жемчужный, багряный) отсутствовали во всех списках «Задонщины», включая Кирилло-Белозерский список, оттого что ряд понятий с этими эпитетами в «Слове» не понадобился «Задонщине» (стружие, седина, струи, душа, столпы).

Кроме того, в Кирилло-Белозерском списке некоторые эпитеты были перенесены на другие объекты, чем в «Слове». Иногда подставлялись объекты из той же фразы «Слова»: например, синие молнии и кровавые зори «Слова» стали синими и кровавыми облаками в списке «Задонщины» Ефросина. Чаще же подставлялись аналогичные объекты под тот же эпитет: так, белый гоголь «Слова» стал белым кречетом в списке Ефросина, быстрая Каяла и синее море – быстрым и синим Доном. Или же подменялся эпитет у объекта на часто упоминаемый в «Слове», и тогда вещи персты становились златыми, а серебряные берега – харалужными. Какой-либо определенной эстетической цели за такими подменами не прослеживается. Видимо, подтверждается мнение И. И. Срезневского, что «Задонщина» (еще до Ефросина) была записана «не с книги или с тетради, а с памяти <...> не с готового извода, а по памяти» [5, с. 340]. Кирилло-Белозерский список же оказался менее «цветистым», чем «Слово о полку Игореве». Тем не менее у Ефросина добавились золоченые предметы («калантири» и «колоколци») и некоторые нецветовые эпитеты (небесные птицы, легкие топоры, сырая земля).

Но посмотрим на состав эпитетов во фразах «Слова» и в «Задонщине» по списку Ефросина. В Кирилло-Белозерском списке в составе фразы сочетаются разные цветовые эпитеты («золочеными шеломы, черлеными щиты» [4, с. 549]). Чаще сочетаются разнородные эпитеты («златыя персты на живыя струны» [4, с. 548]; и златое стремя <...> борзы конь» [4, с. 545]; «птици небесныя <...> под синие оболока» [4, с. 549]; «на сырую землю, на белую ковылу» [4, с. 550]). Сочетаются и нецветовые эпитеты – однотипные («копия харалужныя, мечи булатныя» [4, с. 549]; «борзи комони <...> быстрого Дону» [4, с. 549] и нецветовые эпитеты разнотипные («быстры Доне <...> берези харалужныя» [4, с. 550]).

В коротком Кирилло-Белозерском списке «Задонщины» почти столько же сочетаний подобного вида эпитетов, как и в значительно более просторном «Слове о полку Игореве». Стремление

к красоте речи у Ефросина (или его предшественника) налицо. И еще: лишь одно сочетание эпитетов в списке Ефросина восходило к «Слову», и то лишь частично (в «Слове»: «*кровавыя* зори светъ поведають, чръныя тучя съ моря идуть <...> а въ нихъ трепещуть *синии* мльнии» [3, с. 47]; в Кирилло-Белозерском списке «Задонщины»: «Ис тучи выступи *кровавыя* оболока, а из нихъ пашють синие молнии» [4, с. 549]). Все остальные сочетания эпитетов у Ефросина не соответствовали «Слову» и демонстрировали не глубокий замысел, но и не плохую память, а самостоятельные риторические старания редактора, хотя и на основе «Слова».

Перейдем к сопоставлению эпитетов Кирилло-Белозерского списка со списком Синодальным середины XVII в. – оба, как известно, принадлежат к общему изводу. Эстетическими достоинствами Кирилло-Белозерского списка по сравнению с Синодальным (в той части «Задонщины», по которой можно сравнить списки) являются: во-первых, преобладание ярких эпитетов, хотя Кирилло-Белозерский список в два с половиной раза короче Синодального (ср.: «синие молнии» [4, Кир., с. 549] – «силенья молнии» [4, Син., с. 553]; «белу кречату» [4, Кир., с. 549] – «белозерскому кречету» [4, Син., с. 552]; «вещемъ сивце» [4, Кир., с. 550] – «борздом (!) кони» [4, Син., с. 554]; «калантыри злачены» [4, Кир., с. 548] – нет Син.; «копия харалужныя» [4, Кир., с. 549] – нет такого эпитета в Син.; «востраго меча» [4, Кир., с. 549] – нет такого эпитета в Син.; «живыя струны» [4, Кир., с. 548] – нет такого эпитета в Син.; и пр.). Во-вторых же, все сочетания подобных эпитетов, имеющиеся в Кирилло-Белозерском списке (золотой и живой; небесный и синий; кровавый и синий; быстрый и харалужный; харалужный и булатный; и др.), отсутствуют в списке Синодальном (кроме одного случая: золотой и червленый). В целом, Ефросин в XV в. (или его предшественник) проявил большее стремление к языковой красоте повествования, чем редактор Синодального списка в XVII в.

Сравним далее Кирилло-Белозерский список со списком Ундольского 1660-х гг. Картина та же: список Ефросина эстетически более ярок (ср.: «златыя персты» [4, Кир., с. 548] – «горазная персты» [4, Унд., с. 536]; «борзи комони» [4, Кир., с. 549] – «добрые кони» [4, Унд., с. 536]; «синие молнии» [4, Кир., с. 549] – «сильные молынии» [4, Унд., с. 537]; «белу кречату» [4, Кир., с. 549] – эпитет отсутствует [4, Син., с. 536]; «копия харалужныя» [4, Кир., с. 549] – искажено: «копье фараужными» [4, Унд., с. 538]). Кроме того, в списке Ундольского нет целого ряда словосочетаний (в частности,

«востраго меча» [4, Кир., с. 12]) и нет сочетаний эпитетов, присутствующих в Кирилло-Белозерском списке.

Почти то же самое в списке Историческом первом середины XVI в. (список же Исторический второй XV–XVI вв. слишком отрывочен для сопоставлений, а список Жданова второй половины XVII в. – совсем крошка).

В результате Кирилло-Белозерский список Ефросина выглядит лидером, но не абсолютно во всем, а преимущественно по своей мозаичной эстетической направленности. Однако роль Ефросина в этом деле не ясна, потому что в своих сборниках Ефросин, кажется, больше нигде не проявил подобных устремлений к мозаичной красоте повествования (в том числе ни в переписанном им «Сказании о Дракуле» XV в.). Вероятно, эстетом был некий неизвестный нам предшественник Ефросина.

Оценим эстетические достоинства других списков «Задонщины», начиная со **списка Синодального**. Сравнительно с родственным Кирилло-Белозерским списком в Синодальном списке (в той его части, которую можно сравнить) есть несколько фраз с п а р а л л е л ь н ы м и «двустрочиями», а также с с о з в у ч и я м и, отсутствующими в Кирилло-Белозерском списке; но не они, как говорится, делают погоду. Эстетически важнее использование э п и т е т о в. Целый ряд их в Синодальном списке прилагается к обозначениям более широких пространств, чем в списке Кирилло-Белозерском (например, синие небеса, а не синие облака; кровавые зори, а не кровавые облака; золотые доспехи, а не золоченые шеломы; золотые струны, а не златые персты; и пр.).

И самое главное – благодаря сочетанию эпитетов в Синодальном списке имеется целая «картинка»: «ястреби, и соколи, и белоозерстии кречеты отрывахуся от *златых* и колодицы ис *камени* грады Москвы, обриваху *шевковыя опутины*, возвиваючися под *синия* небеса, звонечи *золотыми* колоколы над *быстрым* Доном» [4, Син., с. 552] (ср. в Кирилло-Белозерском списке: «соколи, и кречати, белозерские ястреба позвонять своими злаченными колоколци <...> соколи, и кречати, белозерскыя ястреби борзо за *Донь* перелетеша» [4, Кир., с. 549]). Однако эта «картинка» есть и в других списках, притом даже другого извода. То есть Ефросин (или его предшественник) по своему обыкновению сократил «картинку» и расщепил ее на две отдельные мозаичные детали. Синодальный же список своей мозаичной изобразительностью все-таки не превзошел списка Кирилло-Белозерского.



Но вот в чем Синодальный список эстетически значительно превзошел список Кирилло-Белозерский (даже в сопоставимых частях), так это ритмичность изложения благодаря однотипным началам или концовкам фраз, в то время как Ефросин (или его предшественник) последовательно сокращал или даже совсем убирал такие фразы. Это видно с самого начала «Задонщины»:

*Снидем, брате, сынове руския,  
составим слово ко слову,  
возвеселим Рускую землю*  
[4, Син., с. 551].

(В Кирилло-Белозерском списке этой фразы вообще нет.)

От явно ритмичных фраз Синодального списка оставались одинокие куцые строчки в списке Кирилло-Белозерском. Вот один из многочисленных примеров:

*То ти уж бо ястреби, и соколи, и белозерстии кречеты  
отривахуся от золатых и колодицы ис камени грады Москвы,  
обриваху шевковья опутины,  
возвизаючися под синия небеса,  
звонечи золотыми колоколы над быстрым Доном  
хотят ударити на многия стады гусинья и на лебединья*  
[4, Син., с. 552].

(В Кирилло-Белозерском списке всего лишь: «Тогда же соколи, и кречати, и белозерские ястреби позвонять своими злачными колоколци» [4, Кир., с. 549]).

Коротким ритмическим перечислениям Синодального списка соответствовали, как правило, однострочные упоминания в Кирилло-Белозерском списке. Например:

*Добре тут, брате,  
стару помолодети,  
а молодому чести добыти,  
плечи своих испытати*  
[4, Син., с. 554].

(В Кирилло-Белозерском списке одно невнятное выражение: «Тогда даже было нелепо стару помолодиться» [4, Кир., с. 550]).

И только иногда совсем длинная серия ритмических фраз Синодального списка была представлена в Кирилло-Белозерском списке уже не так лаконично. Ср.:

*Се бо идет князь великий Дмитрии Иванович  
и братъ его князь Володимер Андреевич,  
помолився Богу и пречистой его матери,  
и стежавше умы свои крепостею,  
и поостри сердце свое мужеством,  
и наполнися роснаго духа,  
и вставиша собе хибрия полтися руской,  
поменовыша прадеда своего великого князя Володимера Киевского*  
[4, Син., с. 551].

(В Кирилло-Белозерском списке только три строчки с глагольным единоначатием: «поостриша <...>, ставше <...>, помянувшe <...>» [4, Кир., с. 548]).

Таким образом, в Синодальном изводе эстетическое развитие списков «Задонщины» шло от красочной мозаичности XV в. к ритмичности изложения XVII в.

Сравнительно же со списком Ундольского список Синодальный, пожалуй, сохраняет свое звание самого ритмичного текста «Задонщины», правда, по мелочам (в списке Ундольского обычно не хватает одной-двух строк по сравнению с соответствующими фразами списка Синодального). Кроме того, в списке Ундольского нет ритмизированных фраз, присутствующих в конце Синодального текста:

*И погнаше руския сынове вослед поганых татар,  
и победивше много множества поганых татар безчисленно,  
и возростишася и с победою и з великою радостию  
<...>  
поганыи Момаю <...>  
вся твоя дружина погилла,  
и многия орды погилли,  
и главы свои потеряли* [4, Син., с. 555].

Что же касается предметных э п и т е т о в , то Синодальный список сравнительно со списком Ундольского эстетически выигрывает лишь в немногих мелочах (в списке Ундольского нет упоминаний о «шелковых» опутинах и о «темных» князьях,

а «борзые» кони всюду названы «добрыми»; два высказывания менее выразительны, чем в списке Синодальном: «накладает свои белые руды на злотыи струны» [4, Син., с. 551] – «воскладоша горазная своя персты на живыя струны» [4, Унд., с. 536]; «своим конем борздым поеждаючи, золотым доспехом посвечаючи» [4, Син., с. 554] – «злаченым тым шеломом посвельчивает» [4, Унд., с. 539]).

Почти то же наблюдаем при сравнении Синодального списка со значительно более ранними списками Историческим первым и Историческим вторым. Так что Синодальный список интересен именно в ритмическом отношении; его писец особо не стремился к цветастой красоте повествования.

Далее, в свою очередь, перейдем к выявлению эстетических достоинств **списка Ундольского** сравнительно со всеми другими списками «Задонщины». В сопоставлении с Кирилло-Белозерским списком список Ундольского в основном отличается, скажем так, большей ритмичностью. В списке Ундольского больше фраз с перечислительными союзами (например: «хиновя поганые татаровя бусормановя»; «воздадим поганому Момаю победу, а великому князю Дмитрею Ивановичю похвалу и брату его князю Владимиру Андреевичю» [4, Унд., с. 535]).

Но что особенно ценно: в списке Ундольского (в части, соответствующей списку Кирилло-Белозерскому) явно выделены рефрены – параллелизмы. Рефрен «за землю за Рускую и за веру крестьяньскую» в списке Ундольского повторен 4 раза (в Кирилло-Белозерском списке рефрен отсутствует, а похожие фразы лишь обрамляют список в его начале и конце). Рефрен «на поле Куликове, на речке Напряде» повторен 5 раз, а во всем списке 7 раз (а в Кирилло-Белозерском же списке лишь одна подобная фраза встречается и то в самом конце).

Тем же отличается список Ундольского от списка Синодального. К тому же в списке Ундольского побольше параллельных «двустрочий». Ср.:

стеzi реvут,  
а поганые бежать  
<...>  
трупми татарскими поля насеяша,  
и кровию ихъ реки протекли  
<...>

скрегчюще зубами своими  
и доруши лица своя  
<...>

в земли своеи не бывать  
и детеи своих не видать,  
а в Русь ратию нам не хаживать,  
а выхода нам у русских людеи не прашивать [4, Унд., с. 539].

(В Синодальном списке вместо всего этого лишь одна нескладная фраза: «Уж нам у Золотои Орда не бывати, бедных жон и детеи не видати» [4, Син., с. 555]).

Главное своеобразие списка Ундольского заключается в повторениях одних и тех же слов при делении на «строки»:

Мамаи пришел на Рускую землю,  
а идет к намъ в Залескую землю [4, Унд., с. 535];  
колько у нас воевод *нет*,  
и колько молодых людеи *нет*  
<...>  
И поедем, *брате* <...>  
и сядем, *брате*, <...> [4, Унд., с. 540].

(Этих строк в Синодальном списке нет).

Примеры (не все) словесных повторов в списке Ундольского, но отсутствия повторов в списке Синодальном:

*посмотрим* с равнаго Непра  
и *посмотрим* по всеи земли Руской  
<...>  
Преже восписах *жалость* <...>,  
потом же списах *жалость* <...> [4, Унд., с. 533];  
посягаешъ на *Рускую землю* <...>  
а воевал всю *Рускую землю* <...>  
а казнил Богъ *Рускую землю* <...>  
и ты пришел на *Рускую землю* <...> [4, Унд., с. 540].

(В Синодальном списке в каждом случае лишь по однократному упоминанию).

Подобные повторы в списке Ундольского усиливали не столько эстетическую ритмичность, сколько логическую подчеркнутость изложения. Ср.:

Уже бо востона земля татарская.  
 <...>  
 Уже бо веселие наше пониче  
 Уже бо руские сынове разграбиша татарские *узорочьа*  
 <...> и дорогое *узороchie*.  
 Уже жены руские восплескаша татарским златом.  
 Уже по Руской земле простресея веселие и буиство.  
 <...>  
 Уже бо вержено диво на земли.  
 И уже *грозы* великаго князя  
 <...>  
 по всем землям текут *грозы* [4, Унд., с. 540].

(В Синодальном списке, а также в списках Историческом первом и втором таких настойчивых повторов нет. Правда, в списках Исторических есть повтор фраз с единоначатием «Уже», но покорооче. К тому же в Историческом первом списке меньше рефренов и стройных параллелизмов). Отсюда направление эстетического движения списков «Задонщины» приблизительно, с некоторой натяжкой, выстраивается так: от изобразительности к лирической ритмичности, а потом к более формальному ораторству.

Остается сравнить **список Исторический первый** с остальными списками «Задонщины». Знакомая картина: сравнительно с Кирилло-Белозерским списком список Исторический первый отличается большей **р и т м и ч н о с т ь ю** изложения преимущественно в мелких проявлениях. Ограничимся лишь относительно более крупным примером:

Уже, брате, возвеша сильнии ветри *по морю на усть Дону и Непра*,  
 прилеяшася великия тучи *по морю на Рускую землю*.  
 <...>  
 Быти стуку велику *на речьки Направде, меж Дономъ и Непром*,  
 пасти трупы челоувечью *на поле Куликове*,  
 пролитися крове *на речькы Напрвде* [4, Ист. 1, с. 542].

(В Кирилло-Белозерском списке по обыкновению короче: «Уже бо всташа силнии ветри *с моря*, прилеяшася тучю велику *на усть Непра, на Русскую землю* <...> Быти стуку и грому велику *межю Дономъ и Непромъ*, идетъ хинела *на Русскую землю*» [4, Кир., с. 549]).

Эстетическое отличие же Исторического первого списка от списка от синодального минимально и в ритмическом отношении наблюдается лишь в конце «Задонщины». Татары:

*а скрегчюще зубы своими  
и дерущи лица свои, аркучи:  
«Уже намъ, брате, в земли своеи не бывати,  
а детеи своихъ не видати,  
а в Русь ратью не ходити,  
а выхода нам у русскихъ князеи не прашивати»* [4, Ист. 1, с. 545].

(В синодальном списке сокращено до двух строк: «Уже нам у Золотой Орды не бывати, бедных жон и детеи не видати» [4, Син., с. 555]).

Кроме того, в списке Историческом первом использованы предметные э п и т е т ы (черный, крылатый, медвяный), отсутствующие в синодальном списке.

Исторический первый список указывает на внимание преимущественно к ритмичности текста «Задонщины» уже в середине XVI в., т. е. еще за сто лет до списка синодального.

Больше того, склонность к ритмичности изложения в «Задонщине», возможно, существовала даже в конце XV в. Ведь в **списке Историческом втором** конца XV – первой половины XVI в., несмотря на его отрывочность, содержится целая песня, урезанная в других списках. Татары:

*скрегчюще зубы своими,  
«деручи лица своя, аркуче:  
“Уже намъ, брате, в земли своеи не бывати,  
а детеи своих не видати,  
а катунь своих не трепати,  
а трепати намъ сырая земля,  
а целовати намъ зелена мурова,  
а на Русь нам уже ратью не хоживати,  
а выхода намъ у русских князеи не прашивати.  
Уже вьстонала земля тотарская  
<...>  
Уже веселие наше пониче.  
Уже сынове рускыя <...>  
Уже жены рускыя <...>”* [4, Ист. 2, с. 547].

В результате обзора списков «Задонщины» с эстетической точки зрения предположительно, в грубом приближении, выстраивается следующая схема их эволюции. Как выглядел первоначальный текст «Задонщины» в конце XIV в. или в XV в., мы не знаем. Затем, в XV–XVI вв., сохранялась или даже усиливалась лирическая ритмичность повествования в этом прозаическом памятнике, которая значительно позже, ко второй половине XVII в., стала проникаться формальной риторичностью, ораторством. Это, так сказать, прямая линия развития «Задонщины». Боковым же, индивидуальным ответвлением от основной линии явилась попытка обогащения изобразительности «Задонщины» во второй половине XV в. (скорее всего, предшественником Ефросина). Все возможности эстетических предпочтений, по-видимому, были заложены в первоначальном тексте памятника.

Конечно, в связи с «Задонщиной» требуются дальнейшие, более широкие исследования феномена изобразительности в древнерусской литературе XV в. и процесса перехода ритмичности прозы в силлабическое стихосложение XVII в.

### *5. Эстетика неожиданности в «Повести о Тимофее Владимирском» и повестях XV в.*

В некоторых древнерусских повестях второй половины XV в. герои вдруг начали вести себя неожиданно, даже парадоксально, чего ранее не происходило, по крайней мере, в таких масштабах.

Рассмотрим это литературное явление на примере «Повести о Тимофее Владимирском». Пристальное внимание к тексту повести проявили, пожалуй, лишь два исследователя – М. О. Скрипиль и гораздо позже Н. В. Трофимова, – но больше как текстологи. Мы же добавим наблюдения по поэтике и эстетике составителя памятника.

Поведение героя повести – «презвитера» Тимофея – совершенно необычно<sup>1</sup>: на великий пост он «падеся з девицею в церкви» [2, с. 58]; бросил жену и детей; переделся – «облечеса в воинскую одежду» – и бежал из Владимира в Орду, чтобы «царю казанскому служити» воеводой и «воевати отечество его Русския земли християнь» [2, с. 60]; принял мусульманство, стал богачом и взял себе две жены; но не забыл церковных песнопений и вдруг, рыдая, раскаялся и покаянно спал в поле на траве, желая получить про-

<sup>1</sup> «Повесть о Тимофее Владимирском» цит. по: [2].

щение, дабы то ли «будеть честень в службе великому князю» [1, с. 64], то ли уйти «в монастырь плакаться греховъ своих» [2, с. 62]; однако, получив прощение, тут же умер; но тут же, не будучи святым, посмертно явился во сне другому персонажу повести. Все это в авторском изложении происходило стремительно: «скоро» [2, с. 58, 62], «вельми спешася», «абие» [2, с. 64], – так что даже великий князь и митрополит в Москве «удивишася о семъ» [2, с. 66].

Причиной столь резких изменений, судя по замечаниям автора, явилась неудержимая страстность Тимофея: он «не могий терпети разгорения плоти своея» [2, с. 58]; затем он стал не просто предателем, а действовал как «лють кровопийца христианескъ» с «ярыма своима очима звериными» [2, с. 60]; а потом «жестокое и каменное свое сердце во умилиение положи и нача великим гласом жалостно плакати и рыдати и <...> о землю убивашеся», «со многими слезами <...> вопияше» и пр. [2, с. 60, 64. Н. С. Демкова отметила эту «экзальтированность» героя – 2, с. 677],

Подобный резко меняющийся, подверженный страстям герой эстетически оценивался автором повести как личность трагическая: автор, по его словам, посвятил повесть именно «беззаконному преступнику» [2, с. 62], говорил о несчастном человеке, «впадшем в великий грех тяжкий <...> не убоясь Божия суда и вечнаго мучения лютаго» «на пагубу души его» [2, с. 58]. Итак, получилась триада: признаками трагичности героя служили неопределенность его поступков и обуеваемость страстями.

Чем объяснить подобный тип героя? Повесть, по датировке М. О. Скрипиля, была написана в конце 1460-х – начале 1470-х гг., т. е. в обстановке нараставшего напряжения отношений Руси с Ордой и неясности будущего, что и отразилось в повести (автор жаловался: у Орды «обычное и беззаконное дело, яко же и прежде, – пролияти кровь неповинных русских людей» [2, с. 60]; соответственно, по авторской характеристике, Тимофей «много лет <...> христианство губя» [2, с. 62]).

Одинока ли была повесть о Тимофее в конце XV в.? Относительные аналогии к «Повести о Тимофее Владимирском» по мотиву нетрадиционности – страстности – трагичности персонажей составили некоторые повести второй половины XV – начала XVI вв. Аналогией по л и т и ч е с к о й явилось «Сказание о Дракуле»<sup>1</sup>. «Мунтянский» воевода Дракула – фигура для автора тоже трагическая: ведь враги «ухватиша Дракулу жива, от

<sup>1</sup> «Сказание о Дракуле» цит. по: [1].



своихъ изданъ по крамоле <...> и повеле его метнути в темницу. И седе <...> 12 лет <...> Увы, не возможе темничныя временныя тяготы понести <...> и приать латыньскую прелестъ» [1, с. 562], а после освобождения «от своих убиваемъ <...> его же многими копии сбодоша, и тако убиень бысть» [1, с. 564]. Признаками трагичности героя служила опять-таки постоянная неожиданность слов и поступков Дракулы (автор повести называет их «кознями» [1, с. 562]), продиктованная опять-таки страстной (так что окружающим приходилось «дивитись его сердцю» [1, с. 564]) преданностью идее создания идеального государства («да не будетъ нищъ в моей земли, но вси богати» [1, с. 558]; «ненавидя во своей земли зла <...> грозень бысть» [1, с. 556] и пр.).

«Сказание о Дракуле» конца XV в. (датировка Я. С. Лурье), возможно, хоть и косвенно, отразила болезненность вставшего вопроса о характере русской государственности и о судьбе русских правителей после падения зависимости от Орды (ср. гордые заявления Дракулы: «срамоту терпети мы же не навыхом» [1, с. 554]; «находя разбойническы на великаго государя домъ всякъ такъ погибнетъ» [1, с. 564]).

Еще аналогии. Больше всего во второй половине XV в. появилось именно б ы т о в ы х аналогий к «Повести о Тимофее Владимирском» – о трагических, необычно ведущих себя героях из-за их страсти, но уже к деньгам и к пьянству. Одним из примеров явилась небольшая «Повесть о посаднике Добрыне» конца 1470-х гг. (по датировке Л. А. Дмитриева)<sup>1</sup>, где Добрыня трагически погиб на реке Волхове («внезапу прииде вихрь <...> възнесе на высоту яко боле дву саженой и удари о воду. И ту потопе посадникъ Добрыня къ дну <...> За свое же лукавство не получи и погребения» [1, с. 190]). «Лукавство» Добрыни заключалось в том, что любил он деньги («даша ему посул великъ <...> Посадникъ же Добрыня ослеплен мздою» [1, с. 188, 190]) и за взятку пошел на предательство и изменнически поддерживал немцев в Новгороде против возмущавшихся этим русских.

Конечно, не всегда трагичность проявлялась так уж прямолинейно. Меньшая, но все-таки аналогичная бытовая трагичность героя была представлена «Повестью о Луке Колочском»<sup>2</sup> конца XV – начала XVI вв. (по датировке М. О. Скрипиля): «приде медведь на Луку <...> едва отняша Луку от медведя, точию дышуща»;

<sup>1</sup> «Повесть о посаднике Добрыне» цит. по [1].

<sup>2</sup> «Повесть о Луке Колочском» цит. по: [2].

после этого Лука «поживе <...> неколико лет <...> и преставися» [2, с. 56]. Признаком трагичности этой жизни служила неожиданная неумная страсть Луки к богатству: когда-то богобоязненный и добродетельный Лука, из «простых людей, ратаев убогих, в последней нищете сый» [2, с. 52], вдруг быстро разбогател и «сотвори же ся Лука напрасен и безстуден», «постави двор себе, яко некий князь» [2, с. 54], «бесовское позорище и плясание возлюбил и пьянству совокупился» [1, с. 56].

Тема богатства и его вредного воздействия на человека, действительно, очень беспокоила авторов XV в. Недаром в «Повести о посаднике Добрыне» автор сетовал: «О семь бо Соломонъ рече: “Все послушают злата”» [1, с. 188]; в «Сказании о Дракуле» осудил владетельного героя за то, что Дракула в «бочки железны <...> насыпа их злата, в реку положи», а мастеров, изготовивших эти бочки, «посещи повеле, да никто ж увестъ съделаннаго имъ окаанства» [1, с. 562].

Как ни странно, но похожие признаки (триаду) трагичности содержало и «Хожение» тверитина Офонаса Микитина сына, помещенное в летописях под 1475 г.<sup>1</sup> Первый признак трагичности: поступки купца Афанасия Никитина как героя его «Хожения» не совсем обычны и ожидаемы: он почему-то не захотел торговать на Руси, а отправился в Дербент, оттуда «пошелъ <...> к Баке, где огонь горить неугасимы» [1, с. 448]; затем оказался в Персии, а там и в Индии, и только через 4 года «устремихся умом поитти на Русь» [1, с. 474]. Зачем всё это?

Второй признак трагичности: страсть к торговле владела Афанасием Никитиным (см., например: «привезлъ жеребца в Ындейскую землю <...> а стал ми во сто рублев» [1, с. 450]; «а аз жеребца своего продал» [1, с. 456]; за него обещали даже «тысящу златых» [1, с. 452]). Основу «Хожения» составили сообщения купца о торговых центрах Индии и о дорогих или дешевых товарах в них, и лишь попутно добавлялись сведения, имевшие опять-таки торговое значение, – о властях, быте, природе, оснащении войск и военной обстановке в Индии. И попал-то он в Индию, надеясь поправить свое состояние после разорения («азъ же от многия беды поидох до Индея» [1, с. 464]).

Ничем хорошим это не кончилось. Афанасий Никитин постоянно жаловался на то, что много опасностей для купцов («разбойников много <...> а все злодеи» [1, с. 452]); что его «по-

<sup>1</sup> «Хожение за три моря» Афанасия Никитина цит. по: [1].

грабили», «разграбили», «не осталось у меня товару ничего», «хлам мой весь к себе възнесли <...> выграбили все» [1, с. 446, 448, 464, 476]); что обманули («сказали нам лживыя вести», «мене залгали псы бесермены» [1, с. 446, 452]); что нет полезного для торговли («ино нет ничего на нашу землю <...> купли нет <...> а на Рускую землю товару нет» [1, с. 452]); что климат тяжелый («солнце варно, человека сожжет», «всюда вода да грязь», «душно велми да парище лихо» [1, с. 450, 452, 468]); что вера чуждая («кто хочет пойти в Ындейскую землю, и ты остави веру свою на Руси да воскликнув Махмета», «о, благовернии рустии кристьяне! Иже кто по многим землям много плавает, во многия беды впадают и веры ся лишают кристьянские» [1, с. 452, 464]); и, наконец, что судьба купца-путешественника неопределенна («пути не знаю, уже камо поиду <...> Дале Богъ ведает, что будет» [1, с. 466]). Заключительным аккордом в развитии трагической темы «Хожения» послужило объявление при включении произведения в «Софийскую вторую летопись»: Афанасий Никитин «пришел из Индея, умер <...> Смоленска не дошед, умеръ <...> его руки те тетрати привезли гости <...> на Москву» [1, с. 444; 3, с. 330]<sup>1</sup>.

«Хожение» тверитина Афанасия Никитина примыкало к группе владимирских, московских, новгородских повестей, отражавших напряженное беспокойство и разность устремлений на Руси в годы падения татаро-монгольского ига (недаром Афанасий Никитин записал по-тюркски: «Урус ери бегляри акой тугиль» [1, с. 468] – эмиры Русской земли несправедливы [1, с. 469, перевод Л. С. Семенова]).

И еще одно наблюдение по поводу трагических мотивов в литературе последней четверти XV в. Недаром «Задонщина» в редакции Ефросина 1470–1480-х гг. после браваурного описания начала похода не завершилась обычным сообщением о победе русских над Мамаем, а вдруг закончилась описанием гибели Пересвета и плачем боярских жен о погибших, а также упоминанием взятия Москвы Тахтамышем и смерти великого князя Дмитрия Ивановича.

Мы обозрели не все памятники второй половины и конца XV в., в которых страстные герои действовали неожиданно в силу их трагической сущности. Круг таких памятников можно пополнить, например, житиями, в частности, «Житием Михаила

<sup>1</sup> «Софийская вторая летопись» цит. по: [3].

Клопского» с его погруженностью в себя и странным поведением, а затем смертью в келье рядом с конским калом и лежа на песке.

Трагическое начало в настроениях и творчестве древнерусских сравнительно светских писателей и редакторов до и после «стояния на Угре» 1480 г. не стоит сбрасывать со счетов.

### 6. «Ермолинская летопись»: детали в кратких сообщениях и настроение летописца

У «Ермолинской летописи» (по списку конца XV в.)<sup>1</sup> есть относительно интересная литературная особенность: много выразительных кратких сообщений, с одной–тремя предметными деталями (обычно после вступительного пояснения «того же лета»). Получилось это оттого, что составитель «Ермолинской летописи» скомпилировал предыдущие летописи, так или иначе сокращенные (см. работы А. А. Шахматова, А. Н. Насонова, Я. С. Лурье, Б. М. Клосса), однако не довольствовался только фактографическими упоминаниями, но благодаря предметным деталям (и своим, и заимствованным) выразил через разрозненные краткие сообщения свои настроения.

Можно заметить, что краткие сообщения летописца в «Ермолинской летописи» очень редко имели подчеркнуто положительный смысл: лишь иногда отмечалась историческая ценность икон или иных святынь («со иконою Пречистою, еже есть Лукина писма, еже принесена бысть изъ Царяграда» [1, с. 41, под 1155 г.]; «иконы <...> иже давно были принесены изъ Царяграда» [1, с. 137, под 1398 г.]; «принесена дъска изъ Солуня отъ гроба святаго Дмитрея» [1, с. 57, под 1197 г.]); иногда же высказывалась похвала святителю («поставленъ бысть <...> митрополитъ <...> бе же зело учителенъ и книженъ» [1, с. 71, под 1224 г.]); но такая похвала содержала, бывало, и умалительный оттенок отрицательный («бе же сеи черноризецъ скимникъ, и книженъ зело, и философъ, но мнози о семь негодоваху» [1, с. 33, под 1147 г.]).

Подавляющее же большинство массы кратких выразительных сообщений у летописца в «Ермолинской летописи», что видно благодаря соответствующему словоупотреблению, были трагичны или пугающи. Обычно говорилось об окружающей обстановке, всегда мрачной. Чаще всего предметной деталью сообщений являлась зловещая кровь, которой обозначались

<sup>1</sup> «Ермолинская летопись» цит. по: [1].

эпидемии («зело хракаху *кровию*<...> и умираху» [1, с. 113, под 1364 г.]); страшные знамения на иконах («иде кровь отъ иконы святагы Богородица» [1, с. 141, под 1407 г.]; «отъ иконы Пречистыя аки *кровь* течаше по обе стороны ризы ея» [1, с. 146, под 1418 г.]); страшные знамения на земле («на земли же, и по хоромомъ, на снегу бе видети яко *кровь* прольяну» [1, с. 58, под 1202 г.]; «озеро стояло семь дней *кроваво*» [1, с. 146, под 1430 г.]); страшные знамения на солнце («солнце <...> аки темною *кровию* покровено створися» [1, с. 112, под 1360 г.]; «солнце <...> *кровавы* луча испущая» [1, с. 138, под 1401 г.]); страшные же знамения на луне («бысть знамение в луне страшне <...> яко *кровава*» [1, с. 44, под 1160 г.]; «гибе месяцъ <...> и бысть яко *кровь* на месте его» [1, с. 140, под 1406 г.]).

Вторым по частоте зловещим компонентом кратких сообщений летописца был огонь с неба («бе облакъ *огнь* <...> и искры отъ него на всю землю идяху» [1, с. 91, под 1280 г.]; «сниде *огнь* с небеси, яко *огнь* великъ <...> а людемъ отчаявающимся живота, мнящимъ кончину» [1, с. 73, под 1230 г.]; «аки *огнены* зари явишася, ходящи чрьсь небо» [1, с. 112, под 1360 г.]; «солнце учинилося аки *месяць*, из рогъ его яко *огнь* жаряще исхожаше» [1, с. 53, под 1185 г.]); огненные столпы («знамение бысть на небеси: столпы *огнены*; тогда засуха велика была, земли и болота горели» [1, с. 147, под 1431 г.]; «являшеся <...> аки столпъ *огнь*» [1, с. 127, под 1381]) и пр. Третьим нередким зловещим компонентом кратких сообщений летописца являлись тьма и мрак («*мъгла* же стояла <...> яко и солнца не видети» [1, с. 147, под 1431 г.]; «погибе солнце <...> и бысть *мрачно* и *темновидно*» [1, с. 140, под 1406 г.]; «бысть знамение в солнци <...> *поморочи* ... и звезды видети» [1, с. 53, под 1185 г.]; «*помрачися* солнце, и бысть *тма*» [1, с. 138, под 1401 г.]; «явися надъ солнцемъ *месяць* <...> и наиде на нь облакъ *чернь*» [1, с. 64, под 1213 г.]).

Наконец, различные страшные внешние несчастья летописец детализировал в кратких летописных сообщениях: грозы и бури («бысть *громъ* страшень, и зарази диакона на обедне <...> люди вси падше ниць» [1, с. 90, под 1275 г.]; «*громъ* бысть великъ зело, и стрела *громная* прииде в верхъ церковныи <...> яко поколебатися и месту от гремения страшнаго» [1, с. 162, под 1477 г.]; «быша *громи* страшни, и ветри мнози, и вихри, и *бури* зелны, и люди мнози *громъ* поби, а мнози молониями опалени быша» [1, с. 91, под 1280 г.]; «*буря* была страшна велми, лесъ ломило и хоромы рвало» [1, с. 156, под 1460 г.] и т. д.); холода («зима бе *студена*, яко человеци и скоти измираша» [1, с. 133, под 1393 г.]; «лето *студено* да и мокро,

и никакое жито не родилося съ техъ мествъ» [1, с. 149, под 1435 г.]); и в конце концов мор («бысть морь силенъ <...> отъ глада морь бысть великъ <...> и люди ядыху конину, и псину, и кошки, и мохъ, и сосну, илемъ, и листь» [1, с. 73, под 1230 г.]; «бысть морь великъ на люди, и на кони, и на всяки скоты, а жито всякое мышь поела» [1, с. 97, под 1309 г.] и мн. др.

Приведенные примеры не означают, что плохие вести о внешнем мире летописец «прятал» только в кратких сообщениях; нет, в больших летописных рассказах описания бед и угрожающих событий были более подробны и еще более часты. Поэтому предполагаем, что в кратких сообщениях «Ермолинской летописи» просто гуще отразился пессимистический настрой ее составителя (или составителей) – несчастья окружали людей. Не случайно в этой летописи ни разу не употреблялись слова «радость», «веселие» и им подобные, зато постоянно упоминалось «много зла».

Манера кратких мрачных сообщений в «Ермолинской летописи», вероятно, восходила (через некое посредство) к той же манере суровой «Новгородской первой летописи», вплоть до фразеологических заимствований, но, по-видимому, была связана с действительностью: XV в. вовсе не способствовал оптимистичности настроений на Руси. Эта тема еще нуждается в исследованиях.

### **7. Социальное благополучие в «Чуде Георгия о змие» второй русской редакции**

В своем фундаментальном текстологическом труде, посвященном «Чуду Георгия о змие», А. В. Рыстепнко [2] как-то посетовал на неумелость и грубость сокращений во второй русской редакции повести сравнительно с первой ее редакцией. Нас заинтересовал вопрос из поздней истории этих редакций: почему в сборнике середины XVII в. РНБ, Погодин., №. 808<sup>1</sup> одним и тем же писцом были переписаны обе редакции – сначала первая, начиная с л. 19, а потом гораздо дальше, после многих иных произведений, связанных с Георгием Победоносцем, начиная с л. 179, переписана и вторая редакция «Чуда».

Дело в том (сутобо религиозной тематики мы не касались), что эти редакции резко различались их повторяющимися мотивами, а

---

<sup>1</sup> Благодарю Екатерину Владимировну Крушельницкую за сообщение новейших сведений о сборнике РНБ, Погодин., № 808. См.: [1].

не просто отдельными деталями. Вторая редакция описывала четкий социальный порядок, царивший в некоем граде, который затем посетит Георгий. Град вполне благополучен («тои бяше великъ зело и множество много людей въ немъ»; «град сей великъ и добръ есть зело и велие угобзение его во всем» [2, с. 26, 39])<sup>1</sup>.

Все горожане единодушны и покорны «велению царскому»; «по ряду творяху повеление царево, наченше от больших князь и до нижних»; «совещаша гражане со царемъ»; «людие вси единъ глас глаголюще» [2, с. 36–37, 39, 41] и др. Соблюдается всеобщий порядок («по вся дни <...> по ряду творяху»; «единъ от другого каждо <...> по ряду» [2, с. 37–39] и т. д.). Все очень отзывчивы в скорби и радости; в частности, царская дочь, отданная на съедение змию, просит не помощи у Георгия, а самозабвенно четырежды побуждает его спасти самому: «отойди <...> отсюда, скоро отиди, да не зле умреши <...> молю тя <...> отступи отсюда <...> отиди отсюда скоро <...> бежи, о человеце, отсюда» [2, с. 38–40].

Змей-человекоядец, нарушающий покой и благополучие города, действует только на краю озера, где он гнездится («при край езера» [2, с. 37–38]), свистит и рычит, но в конце концов на суше оказывается жалким существом («пресмыкаяся по земли, яко овча на заколение» [2, с. 41]).

Подошедший к городу Георгий умиротворен и спокоен («яко же некии воинъ грядый от рати и со тщанием во свое отчество идыи» [2, с. 38]). Смерть от змея ему не грозит, ведь Георгий «в житии сии и по смерти» [2, с. 38]. И после смерти Георгий сохранил «светлость и красоту лица» [2, с. 39]. Змеи обезглавлен, и благополучие города восстановлено в еще большей мере, чем раньше: в городской церкви теперь присланный Георгием оберегающий город «щитъ <...> виситъ на воздухе, не держимъ никимъ же» [2, с. 42].

В первой же редакции «Чуда» всех этих мотивов не было. Вместо благополучия града – сплошные несчастья: «царь <...> правоверныхъ християнь муча горко, смерти предавая <...> людие <...> града того <...> в горы бежаху и в пропасти впадаху <...> в водахъ потопляхуся и в лесы пустыя хороняхуся, велми растерзаеми бываху от зверей и от гадовъ» [2, с. 28]. Щит Георгия, охраняющий град, отсутствует в первой редакции.

Единодушия и отзывчивости народа в первой редакции нет: царь даже предлагает откупиться от очередности выдать свою

<sup>1</sup> «Чудо о Георгии и змие» цит. по: [2].

дочь змию («возмите у меня злата и сребра, елико хотите, а мне оставите чадо мое» [2, с. 30]), но ему возражают («не наше хотение»), а потом, никак не переживая, собираются посмотреть, как змий сожрет царскую дочь («стекошася весь народъ града того на позоръ горкии дщери тоя царевы»).

Никакого спокойствия тоже нет. Будничное ожидание змея во второй редакции («Что зде стоиши, отроковице?» [2, с. 38]) очень бурно и трагично в редакции первой («она же <...> ста при езере, власы своя теръзая и слезами омывающеса <...> вопиюще <...> в перси своя бьюще» [2, с. 30–31]). Спокойный после своей смерти Георгий второй редакции «Чуда» вовсе не спокоен в первой редакции, где он еще живой («преже мучения» [2, с. 27]; «Георгии смятеса умомъ, со слезами воздохнувь от сердца своего» [2, с. 31]).

Наконец, лишь формально страшный змий второй редакции действительно злобен и чувствителен в первой редакции («змии грядый, аки гора велика, яко волны вышибая на брегъ, разверзе челюсти своя, аки пропасть <...> свивъся и наложи языкъ свой, яко стрелу остру, и яда наполни уста своя и прыскнувь на святого» [2, с. 32], «от великого бо свистания и от страшного взора его кони бегаютъ» [2, с. 29]; «змии же рече, яко человекъ <...> нача лизати ноги святого» [2, с. 33]). Любопытно, что во второй редакции змия для безопасности связывают явно покрепче, чем в первой (во второй редакции вяжут поясом девицы и поводом Георгиева коня, а в первой – только девичьим поясом).

Кроме того, социальный порядок в первой редакции, в отличие от второй, оказывается нарушенным («царь <...> снемъ с себе царскую порфиру и венець главы своя» [2, с. 33]; «дщерь же царева <...> совлекше с себе царския ризы и облечеса в худыя, и бысть во церкви <...> до конца живота своего» [2, с. 35]).

Короче говоря, вторая редакция «Чуда» отличалась успокоительностью от беспокойной первой редакции. Недаром вторая редакция в заключение оптимистически провозглашала: «исцеления многа творить Богъ <...> и многа радость бываетъ по вся дни <...> и мы, братие <...> да <...> удлучимъ вечныхъ и немимоходящихъ благъ» [2, с. 42]. Судя по водяным знакам, обе редакции были переписаны в Погодинском сборнике в 1640-х гг. (ранняя владельческая запись 1653 г.). Но 1640-е гг. – это время продолжавшегося общественного благодушия после Смуты. Такому настроению соответствовала вторая редакция «Чуда Георгия о змие». Оттого, как можно предположить, ее дополнительно и переписал составитель сборника Погодинского собрания № 808.



## 8. Эстетика авторских «двустрочных» высказываний в «Мазуринском летописце»

Теперь обратимся к источникам конца XVII в. «Мазуринский летописец» конца XVII в. в общем мало интересен для литературоведов, потому что наполнен большими выписками из предшествующих летописей и вольными пересказами разных источников, а также фантастическими сведениями, взятыми неведомо откуда. Поэтому «Мазуринским летописцем» занимались преимущественно историки, а из литературоведов, пожалуй, лишь Н. В. Трофимова, которая опубликовала, по ее словам, «некоторые наблюдения над литературной спецификой» этого памятника и отметила в нем «характерные для риторического стиля приемы» [2, с. 220, 222].

Мы же в качестве продолжения рассмотрим, отразились ли в тексте памятника представления неизвестного нам составителя (по предположению А. П. Богданова, это был некий Исидор Сназин) о красоте повествования. Специально по такому поводу составитель нигде не оговаривался, а потому мы пытаемся определить его эстетические языковые вкусы как читателя и пользователя источниками по одному из самых частых риторических средств в компилятивном тексте летописи – по «двустрочиям» (конечно, выделяем их мы, а не летописец).

«Двустрочия» эти основаны на перечислении или противопоставлении и содержат, как правило, одинаковое количество ударных слов, параллельно и ритмично перекликающихся друг с другом.

То, что составителю нравились подобные «двустрочия», демонстрирует уже заголовок летописи<sup>1</sup>:

Книга, глаголемая летописец  
великия земли Росискія,  
великаго языка словенскаго [1, с. 11].

Судя по стройности структуры заголовка, составитель считал долгом выразиться красиво (выразительность, возможно, поддер-

---

<sup>1</sup> «Мазуринский летописец» цит. по: [1]. Годы не указываем из-за смешения датировок у составителя: то 5500, то 5508 от сотворения мира.

жанная звуковыми повторами «коле – коиле» в продолжении заголовка: «отколе и в кои лета начаша княжити»).

По-видимому, составитель чаще всего сохранил в переписываемых текстах красиво звучащие «двустрочия» или даже «многострочия». Например, о крещении пришлого юродивого: Исидор был

от западных страны,  
от латинского языка,  
от немецкия земли  
<...>  
остави отческую свою латынскую веру  
и возлюби христианскую истинную веру [1, с. 113].

Переключка слов и стройность структуры очевидна.

Естественно, составителя очень привлек рассказ, переписанный из «Степенной книги», о крещении Владимира Святославовича и особенно речь епископа со множеством четких словесных параллелей. Приведем только два примера из многих:

Люби же господа Бога  
всем сердцем твоим,  
и всею душею твоею,  
и всею мыслию твоею,  
и всею крепостию твоею [1, с. 44].

Или еще: «Очи же твои <...> Ушима же твои имай <...> Язык же свой удерживай <...> Уста же своя отверзай <...> Руки же твои <...> воздавай <...>» и пр. [1, с. 44].

Ценил составитель и трагическую красоту «двустрочий», ярко проявившуюся, в частности, в сообщении о кончине царя Алексея Михайловича:

в третьем часу ноци  
*угасе свещи* страны Руския,  
*померче свет* православия,  
прият нашествие облака смертнаго,  
*остави царство временное,*  
*отиде* в жизнь вечную [1, с. 172].

Ср. о смерти митрополита Алексия:

*тело бо честное на земли остася,  
святая же его душа на небеса возлете* [1, с. 89].

Любопытен здесь и звуковой повтор «ча-ча-ча-ча»: «чада от любочадия отчая отлучаеми».

Наконец, красивое выражение страха в «двустрочиях» и «многострочиях» также не прошло мимо внимания составителя летописи. Бури:

*Быша громи страшныи,  
и ветри мнозии,  
и бури велицыи.  
Люди мнозии громом поби,  
и мнози молниями опалени быша,  
инуды же и дворы до основания уносила,  
и с людми восторже,  
и без вести быша* [1, с. 77].

Знамения страшны, но сказано о них красиво (с точки зрения составителя):

*ужасно видение,  
и страшно явление,  
и грозно знамения  
гнева Божия.  
<...>  
яко облак лехкий протязашеся,  
или яко дым тонок извиваяся,  
белостию же, яко иней чист,  
светлостию же, яко солнцу подобно* [1, с. 119].

Множество эстетически значимых текстов в летописи, возможно, приоткрывают читательские эмоционально-языковые вкусы составителя летописи.

Эти вкусы не являлись чем-то изысканным, и стройную красоту высказываний составитель-компилятор предпочитал не всегда. Составитель, бывало, уже от себя вставлял в книжные тексты отнюдь нестройные просторечные пояснения. В целом языковые вкусы составителя тяготели к эмоциональным повество-

вательным традициям XVI в. (ср. «Казанскую историю», также использованную в «Мазуринском летописце»). Традиционные красоты стиля понадобились составителю для возвеличения России, что и выразил составитель в заголовке летописи, хотя выполнил эту задачу неуклюже.

### 9. «Лишние слова» в «Житии Мартирия Зеленецкого»

«Житие Мартирия Зеленецкого» исследователи (Е. В. Крушельницкая, А. М. Ранчин) связывали с проблемой автобиографизма в древнерусской литературе; стиль же «Жития» называли риторическим, но им, естественно, не занимались. Но риторичность риторичности рознь. Поэтому все же рассмотрим, в чем именно проявилась риторичность создателя анонимного «Жития Мартирия Зеленецкого» (кажется, 1670-х гг., по списку конца XVII в., или позднее, РНБ, Софийское собрание. № 1493<sup>1</sup>). Правда, скажем только об одной повествовательной особенности этого памятника.

В первых же фразах «Жития» в глаза бросается множество уточнений: «Бе <...> отецъ Мартирии *отъ* пределъ Великого Новаграда, *отъ* града нарицаемаго Великихъ Лукъ <...> Въ немъ же житие имяше мужъ некий<...> именемъ Козма» [2, с. 52, столбец 1]. Этими уточнениями, так сказать, по «анкетным» рубрикам автор «Жития» возводил конкретные упоминания к родовым понятиям: Великие Луки – град; Козма – мужчина некий, его житие. То была устойчивая манера повествования автора в «Житии»: «посла <...> во градъ Великихъ Лукъ» [2, с. 45, столбец 2]; «отъиде во градъ Смоленскъ» [2, с. 60, столбец 2]; «достигшу же ему Тверь-градъ» [2, с. 64, столбец 1]; «отъ тоя пустыни, глаголемую Буборины» [2, с. 61, столбец 2] и т. д. Так же говорилось о людях: «супружница именемъ Стефанида» [2, с. 52, столбец 1]; «иерей некий <...> именемъ Борисъ» [2, с. 52, столбец 2]; «мужъ некий <...> именемъ Афанасий» [2, с. 57, столбец 2]; «некий <...> христианинъ Иосифъ именемъ» [2, с. 62, столбец 1]; «единому отъ инокъ именемъ Гурию» [2, с. 63, столбец 1] и мн. др.

Каков был смысл данной формы? Все эти люди и географические места выступали у автора прежде всего как однородные статистические единицы, а уж потом автор, если надо, их

<sup>1</sup> «Житие Мартирия Зеленецкого» цит. по: [2]. Далее под словом «столбец» подразумеваем деление страницы большого формата на две части — левую и правую [столбец 1 и столбец 2].

индивидуализировал оценками: «бѣше тогда градъ сей много-человечень зело» [2, с. 52, столбец 1]; «мужъ некии благочестивъ и боголюбивъ» [2, с. 52, столбец 1]; «мужъ некий богобоязливъ» [2, с. 57, столбец 2]; «некий благородный» [2, с. 59, столбец 1] и пр. Соответственно все персонажи не просто жили, но «житие имяше», а уточнения подверстывались к родовому понятию «житие»: «безмолвное *житие* жестокое въ пустыни той прохождаше» [2, с. 62, столбец 1]; «въ жесточайшемъ *житии* пребывая» [2, с. 57, столбец 1]; «во общемъ *житие* жити» [2, с. 60, столбец 2]; «прискуситися въ пустынномъ *жительствии*» [2, с. 61, столбец 1] и т. д. Все действия персонажей сначала возводились к однотипности, и лишь потом немного различались (например: «совета *...* на *путное* шествие *...* на *путь* прострошася *...* отшедшу *пути*» [2, с. 59, столбцы 1–2]; «*пути* касается» [2, с. 61, столбец 1]). Таких примеров из «Жития Мартирия» можно привести очень много (вот еще «анкетный» пример: «достигшу же ему осмаго лета *возраста* своего» [1, с. 552, столбец 1]).

Чем объяснить подобную структуру повествования? На первый взгляд, конечно же, абстрагирующей агиографической традицией изложения (в частности, фразеологию со словом «житие»). Но в «Житии Мартирия» способ возведения именно светских фактов к родовым понятиям использован гораздо чаще и повсеместно. Поэтому предполагаем, что на этот «абстрагирующий» стиль изложения могло повлиять еще одно обстоятельство: ориентация автора «Жития» на бюрократическо-государственное отношение к местам, людям и событиям.

На то, что церковный автор «Жития» был «государственником», указывают специфические политико-экономические мотивы в повествовании. Так, автор «исторически» индивидуализировал один из градов: «Тверь-градъ, въ немъ же царю Симеону Булатовичю, бывшему казанскому, жительство имеющу, понеже градъ сей изволениемъ благочестиваго царя данъ бысть ему во участие жительства» [2, с. 64, столбец 1]. Упоминались царские повеления: «*повелениемъ* благочестиваго царя и великаго князя Иоанна Васильевича Руси *...* монастыря того перваго игумена постави именемъ Кирилла» [2, с. 58, столбец 2]; «близъ церкви Богоматери, юже преподобный симъ созда *повелениемъ* и верою царя Симеона, бывшего казанского» [2, с. 66, столбец 2]. Но чаще автор с пиететом упоминал о материальной помощи от властей: «ехати во градъ къ начальнымъ града, да *потребы ради монастырския* исправятъ тамо *...* Имяху бо съ собою ковчежець, въ немъ

же царские грамоты <...> сия грамоты отъ царския десницы вданы суть, и се есть *утвержение монастырю*» [2, с. 57, столбец 1]; «преподобный <...> отъ царя <...> *неколико приемлетъ* и тако церковь камену созда <...> царь Симеонъ <...> *много даеше* на строение святого того места» [2, с. 64, столбец 2]; или: «некто царевь мужъ Великаго Новаграда, именемъ Феодоръ Сырковъ нарицаемъ, яко да сей некосное *строение* непроходней пустыни *присовокупивъ*» к монастырским владениям [2, с. 63, столбец 1].

Показательно также, что автор прослеживал продвижение героев «Жития» по церковно-иерархической лестнице.

Все это резко противоречило «Наказанию к братии» самого Мартирия Зеленецкого в его автобиографической записке<sup>1</sup> (как известно, использованной в «Житии»). Мартирий ведь запрещал: «Братие моя милая, прошу у васъ того и молю, чтобы есте не надеялись ни на князя, ни на боярина, ни на какого властителя <...> не просите у них ничего» [1, с. 345].

Появление подобного житийно-«государственного» сочинения неудивительно после «Степенной книги», только теперь маятник качнулся к противоположной стороне – от церковности к светскости.

Мы отметили лишь одну особенность из многих иных в «Житии Мартирия». Добавим, что в «Житии» наблюдается и исключение из этого эмоционально-однообразного стиля изложения – тогда, когда речь идет о смерти персонажей. Упоминания о смерти как раз многообразны и нередко образно-иносказательны: «къ смерти приближатися» [2, с. 56, столбец 1]; «быти ему близъ смерти» [2, с. 58, столбец 2]; «при вратехъ смертныхъ на празе стоять» [2, с. 64, столбец 1]; «отъ жизни сея отъидеть» [2, с. 65, столбец 2]; «свое отъ земли преставление» [2, с. 65, столбец 1]; «отъ жития сего преставистася къ Богу» [2, с. 55, столбец 1]; «предаде <...> душу въ руце всехъ Бога» [2, с. 66, столбец 2]; «вечнымъ сномъ успе» [2, с. 53, столбец 1] и др.

Можно высказать догадку, что автор «Жития» был неравнодушен к теме смерти (и даже затронул тему посмертной судьбы души «на воздушныхъ мытарствахъ» [2, с. 56, столбец 2]). Не вызвано ли было такое неравнодушие к теме смерти преклонным возрастом автора «Жития Мартирия»? Недаром автор проследил, как старец Мартирий: «преподобный <...> убо ко старости бе» [2, с. 64, столбец 2]; «на последокъ же летъ живота своего <...>

<sup>1</sup> Автобиографическая записка Мартирия цит. по: [1].

поживе лета довольна, достиже во глубокую старость» [2, с. 64, столбец 2]; «проводя отъ себе жизнь сию привременную <...> уразуме свое отъ земли преставление» [2, с. 65, столбец 1]. Правда, и тут не обошлось без житийной традиции (ср., к примеру, «Житие Сергия Радонежского»).

К сожалению, никаких упоминаний о составителе в тексте «Жития» нет; отсутствуют обычные для житий авторские вступление и заключительная похвала преподобному (они могли бы содержать сведения об авторе), т.е. текст приближен к исторической повести.

### *10. Новые детали в простонародных повестях конца XVII – начала XVIII вв.*

#### **«Повесть о Еруслане» по спискам 1640-х и 1710-х гг.**

Простонародные повести кажутся нам сейчас слишком нелепыми, алогичными и «неграмотными», чтобы с серьезностью подробно изучать их. Однако в них есть рациональное зерно, добавляющее нечто своеобразное в историю развития древнерусской литературы.

В первую очередь для дальнейших сравнений рассмотрим так называемую «восточную» редакцию повести, – «Сказание о некоем славном богатыре Уруслане Залазоревиче» (по списку 1640-х гг. РГБ, Унд., № 930). О восточной основе «Сказания» написано много и многими учеными; повесть хвалили все исследователи за яркость ее образов (особенно А. С. Орлов и Л. Н. Пушкирев, а в последнее время – Ф. С. Капица и Н. В. Стёпина). Мы же займемся, пусть пока не с исчерпывающей обстоятельностью, повторяющимися в тексте **новыми** мотивами и деталями, авторский смысл которых не так-то легко понять с ходу.

Анонимный автор (или редактор) «Сказания» часто упоминал о состоянии царств: «какъ бы прожити в царстве мочно» [2, с. 101]<sup>1</sup>; «царство пусто будет» [2, с. 124], «в царстве добрых людей не осталос» [2, с. 123]; «людно царство» [2, с. 117]; «царство <...> оборонил» [2, с. 124]; царь «устроил царство свое дутчи старово и учал <...> на своем царстве жити безмятежно» [2, с. 120]. А еще автор постоянно касался службы царю: «учнет <...> царь <...> в службу приимати» [2 с. 102]; «царь меня <...> избесчестил: в службу

---

<sup>1</sup> «Восточная» редакция «Повести о Еруслане» («Сказание о Уруслане») цит. по: [2].

меня к себе не принял» [2, с. 103]; «приехал *служити* <...> государю своему слуга быти» [2, с. 106]; «государю рад *служити* <...> служба наказана великая» [2, с. 113]; «*службу* служиш здорово» [2, с. 123] и т. д. и т. п.

Эти необычно настойчивые мотивы государственной «службы» в «Сказании», как нам кажется, были связаны с идейным опытом Смуты. Наверное, поэтому в кодекс верной службы в «Сказании» проник и такой урок: «Не дай, де, Богъ деяти добро никакову *иноземцу* и веры няти» [2, с. 111].

Возможным отзвуком подозрительности людских отношений во время Смуты являлись в «Сказании» неперенные вопросы, на которые вменялось отвечать персонажам: «Какой еси человек? А яз тебя не знаю... Какъ, де, тебя, брате, именемъ зовут?» [2, с. 103]; «какой еси человекъ: царь ли, или царевич, или князь, или богатыр сильной?»; «какой еси, брате, человекъ и которой земли? Как тебя зовут именем?» [2, с. 116]; «господине, кто ты еси, какой человекъ?» [2, с. 121]; и др. Отсюда и анкетные ответы о служебной деятельности («стерегу <...> стада тритцет летъ» [2, с. 103]; «стережет он на <...> рубеже семь летъ» [2, с. 111]; «а нынеча тому уже 30 летъ минуло, какъ на меня не смеют никаков богатыр похвалитца» [2, с. 117]).

Но другие мотивы в «Сказании» были навеяны уже гораздо поздним временем, чем Смута. Таков мотив героев комфорта в этой якобы богатырской повести. Персонажи обычно находились в удобных каменных палатах («и пошел Уруслан с царевною *в полату* в каменную» [2, с. 110]; «царевна <...> его <...> повела в каменную *полату*» [2, с. 125]; «вшел царь в каменную *полату*» [2, с. 117]); герои сидели и предавались созерцанию («и учал Урусланъ в своей каменной *полате* сидет и учал смотрит на большой дугъ на поле» [2, с. 104]; «и учал Уруслан смотрит *ис полаты* на чистое поле» [2, с. 117]; «князь Данило Белой *ис полаты* самъ усмотрил <...>» [2, с. 113]; «Зеленой царь увидел *ис полаты* <...>» [2, с. 118]). Персонажи очень любили отдыхать («лег себе <...> *опочиват*, и уснул добре крепко, да учал *спати* долго» [2, с. 108]; «легли *спат*» [2, с. 110]; богатырь, даже когда сторожит, то «*спит* на коне, подперся копьем <...> *спит*, не подвинетца с места» [2, с. 121]; и т. д.). От такого времяпрепровождения Уруслана временами охватывает слабость: «И какъ Уруслан с тою царевною *поспит* месяцъ времени, и он обезсилеет: учнет тянути свой доброй крепкой лук, и он не может и от петел отвести» [2, с. 125].



На людях персонажи появлялись в очень нарядном виде: конюх – «кон под нимъ сив, тегилай (кафтан) зелен» [2, с. 103]; «князь Данило Белой – кон под ним сив, кутас (шнур с бахромой) на нем червчат» [2, с. 106]; Феодул Змей – «конь под нимъ бур, кутас зеленъ» [2, с. 109]; Ивашко Белая Поляница – «кон под нимъ ворон, великъ добре» [2, с. 121]; женщины – «платье на них добре хорошо <...> подол сажен великим жемчюгомъ да з драгимъ каменьем» [2, с. 125].

Наконец, мотив комфортности в «Сказании» дополняло обилие «обслуживающего персонала» (помимо конюха, мастера-каменщики; гонцы; сторожа; дядька; «девки, которые на руки воду подают» [2, с. 111]; и прочие, как прямо названо, – «служащие» [2, с. 124]). Все это мотивы уже устоявшегося мирного времени. Недаром сугубо хозяйственный вопрос задавал Уруслан индийскому царю: «Что, господине, во царстве твоємъ за озеро, и какое в нем угодье, и какая у тебя в немъ потеха?» [2, с. 123].

Еще одно свидетельство «выветривания» величия богатырства – это необычные, можно сказать, очеловечивающие богатырей демократические мотивы в повести. Так, богатырь Уруслан чувствителен: он то «исполошелся» [2, с. 126], то «ужаснулся» [2, с. 114]); то ему кого-то «жал» [2, с. 108]; то он «прослезился» [2, с. 112]; а то и «заплакал» [2, с. 111]. Зеленый царь нетерпелив: «он не утерпит, выедит» [2, с. 115]; «царь на своем месте не усидел, вышел» [2, с. 118]. Сын Уруслана стыдлив: «мне в соромех не мощно лица своег показат» [2, с. 126]. И т. п.

Демократично общение персонажей. Ласково обращение персонажей к своим собеседникам: «батюшка», «дядюшка», «брате». Обращения «брате» отдавали уже явным демократизмом: обычно от высшего к низшему (Уруслан – конюху; царь – Уруслану; голова – Уруслану; Уруслан – коню; старший конь – младшему коню). Могли смиренно называть заведомо низшего «господином»: Залазар – своего сына; Уруслан – тоже своего сына; царь – Уруслана; Уруслан – растерявшихся богатырей и даже тюремных сторожей. Царь теперь подавал руку: «И Зеленой царь <...> подал ему руку и принел Уруслана к себе в службу» [2, с. 116]. Винились друг перед другом, – царь перед Урусланом, Уруслан перед царем, Уруслан перед своим сыном. Недаром Уруслана, княжеского сына, принимали «за простова человека» [2, с. 112].

Таким образом, мотивы умиротворенности преобладали в «Сказании о Уруслане», что соответствовало обстановке гораздо после Смуты.

Прошло почти сто лет, прежде чем появилась новая, сильно переработанная редакция повести, под пространным заголовком: «Сказание и похождение о храбрости, о младости и до старости его бытия, младаго юноши и прекраснаго русского богатыря, – зело послушати дивно, – Еруслона Лазаревича» [4, с. 301]<sup>1</sup> (по списку конца 1710-х гг. РНБ, Погод., № 1773). Предлагаем предварительное, возможно, не совсем точное истолкование деталей и мотивов этого «Похождения».

Неизвестный нам редактор повести убрал почти все фантастические эпизоды (например, разговор коня Араша со своим старшим братом, тоже конем; рассказ о птицах-хохотуньях, превращающихся в девиц); оставил эпизод о трехголовом «чуде», но сократил. Богатырская голова получила тело: «лежить человек-богатырь, а тело его, что сильная гора, а глава его, что сильная бугра»; а трезво мыслящий Еруслон «удивился, что мертвая голова глаголетъ» [4, с. 314].

В «Похождении» повторялись уже иные детали и мотивы. Еруслон у нового редактора стал напоминать не самостоятельного, а подневольного служилого человека – «холопа»: «пошел ко царю в полату <...> царю <...> поклоняетца: “<...>А меня, государь, холопа своего, приими в службу <...> а меня зовуть Еруслонъкомль”» [4, с. 311]; «“государь! <...> Пожалуй меня, холопа своего”» [4, с. 315].

Еруслон у редактора в «Похождении о храбрости» уже не так благороден, как в «Сказании о Уруслане». Он заносчив. Например, Еруслон долго и ворчливо пререкался с другим богатырем о том, кто кому подаст умыться («ты песь, а не князь» и пр. [4, с. 306]). Так же груб и ворчлив был Еруслон и с другим персонажем («стоит человекъ, копьемъ подпершись <...> и стоячи дремлетъ. И Еруслон Лазаревичъ ударил ево по шляпе плетью и говорить: “Человече, убудися! Мошно тебе и лежа наспатца, а не стоя!”» [4, с. 310–311]). Еруслон незадачлив: в представлении нового редактора: «конь испугался, пал на окарачки, а Еруслонъ свалился на землю» [4, с. 318]. Это тип служаки позднего времени.

Богатырство Еруслона редактор перенес в иную сферу – сексуальную. Ведь Еруслон, по сообщениям редактора, с малолетства подвержен плотской страсти: «забылъ образу Божию молиться, что сердце его разгорелось, юность его заиграла, и емлет себе <...> прекрасную царевну» [4, с. 309], – и так трех сестер подряд

<sup>1</sup> «Похождение о храбрости Еруслона Лазаревича» цит. по: [4].

(а ему семь лет); потом женится в двенадцать лет, но тут же изменяет жене с другой царевной: «смотрячи на красоту ея, с умомъ смешался, и забылъ свой первой брак, и взялъ ея за руку за правую» и т. д. [4, с. 320]. Тем не менее женщины о Еруслоне отзывались скептически: «а язъ <...> Еруслона Лазаревича храбрости не видала и не слыхала» [4 с. 308]; «обычная твоя храбрость – что ты, нась, девокъ, разьгнал <...> грабилъ» [4 с. 310]. Такой Еруслон живет, пожалуй, уже по нравам Петровского времени.

Одновременно Еруслон парадоксальным образом превратился у редактора повести из богатыря в благопристойного юношу – он ведет себя тоже по новым правилам: в чужом шатре он не заваливается спать рядом с другим спящим, а «лежь опочевать в шатре, на другой стороне» [4, с. 305]; если легли опочивать муж с женой, то деликатно «Еруслонъ из шатра вон вышел» [4, с. 307] и их разговор намеренно не подслушивал; перед браком Еруслон сначала хочет испросить благословения у родителей (потому что даже богатырю нельзя «естьи мне слюбитца прекрасная царевна и я на ней женюся, а у отца своего и у матери не благословился» [4, с. 312]; приехал в чужой город и скромно «стал на дворе у вдовы» [4, с. 318].

Редактор «Похождения», кроме того, добавил множество уточнений, поясняющих читателям, как то или иное дело делалось или должно делаться: как персонаж догнал конного персонажа («уведаешь коней следъ <...> нашед ступь коневью ис копытъ» [4, с. 305]); как ложился спать («постлал под себя войлочки косящатые, а в головы положилъ седло черкасское да узду тасмяную, и лежь опочивать» [4, с. 302]); как расправился с неудобными сестрами-красотками («и стал Еруслон Лазаревичъ с постели, и взял острую саблю свою, и отсекъ ей голову»; второй сестре – тоже; а третьей сестре велель: «а сестерь своих схорони» [4, с. 310]); как убил трехголовое «чюдо» («и влезъ Еруслонъ чюду на спину, и отсекъ Еруслон у чюда две головы <...>» [4, с. 319]); как верно распорядился драгоценным камнем (не прилаживать куда-то на руку или растачивать на серьги, а надо сделать перстень или дать в приданое [4, с. 320]). Эта «технологичность» уже тоже отдает Петровским временем.

Ясно, что новая редакция повести о Еруслане неуклюже наложила на старые сюжеты новые, более поздние мотивы. Грубость повествования понадобилась для развлекательности повести. Проявились в тексте еще и как бы патриотические политические детали. Наряду с русификацией имен (это исследователи

отметили давно), редактор «Похождения» ввел тему успешной борьбы с татарами: враг Еруслона князь Данило Белый вроде бы оказывается татарин, – «собралися к нему мурзы и татары» [4, с. 313]; Еруслонъ «присекъ рать-силу татарскую» [4, с. 309], «прибил, и присекъ, и конемъ притоптал мурзь и татарь», а остальных «въ крещеную веру привел» и Данила Белого «сослал в монастырь и велель пострици» [4, с. 314–315]. Нет ли здесь отзвука войн с Турцией? Наступило время грубо развлекательных произведений, подобно грубо раскрашенному лубку того же периода.

### «Повесть о Бове» по списку конца XVII в.

Общепризнанно, что переводная «Повесть о Бове» принадлежала к развлекательным произведениям. Третья редакция «Повести» (по классификации В. Д. Кузьминой), как известно, ценна своей фольклорной русифицированностью. Но не только. Обратим внимание на манеру изложения в позднем списке конца XVII в. (РНБ, Q. XVII, № 27). Наша интерпретация деталей в повести, конечно, не безупречна, но все-таки, надеемся, может быть полезной.

В «Повести о Бове» (далее имеем в виду именно третью редакцию) довольно много глаголов, как-то «неправильно» употребляемых русским редактором и оттого явно двусмысленных и многозначных изобразительно. Вот типичный пример: «И старецъ почерпнулъ чашу укруги, и *уклонился*, всыпаль усыпляющего зелья, и далъ Бове. И Бова выпилъ, и *уклонился* Бова с коня на землю, и спаль 9 дней и 9 ночей» [4, с. 287]<sup>1</sup>. В первом случае, судя по контексту, глагол «уклониться» означал что-то вроде мелкого сложного действия – «отвернуться, повернуться и наклониться». Во втором случае «уклониться» подразумевал уже иное сложное действие – «склониться, сползти и упасть». Еще пример предметной многозначности глагола «уклониться»: королевна «Дружневна, *уклонясь*, всыпала из рукава усыпляющего зелья и поднесла королю Маркобруну <...> И король Маркобрунъ выпилъ кубокъ меду и *уклонился* спать» [4, с. 293]. Дружневна прежде всего отошла и лишь потом отвернулась и незаметно из рукава достала зелье, а Маркобрун не упал, а повернулся, ушел и лег спать.

<sup>1</sup> «Повесть о Бове» цит. по: [4].

Вот иной эпизод: «И прекрасная королевна <...> уронила нож под столь <...> И Бова *кинулся* под столь. И прекрасная королевна *подкиня* главу под столь» [4, с. 281]. Глагол «кинутися», опять-таки судя по контексту, означал здесь «стремительно нагнуться, быстро просунуться и подлезть», а глагол «подкинути» означал «наклониться низко и вытянуться вперед» – опять сходные глаголы обозначали разные предметные действия.

Еще примеры: «добрый конь богатырский зъ 12 цепей *збился* и уже *пробивает* последние двери» [4, с. 284] – бился, порвал цепи и вырвался; бьет в двери копытами, дырявит и ломает двери. Причем иногда автор прямо пояснял скрытый предметный смысл глагола. Так, король Маркобрун увидел, по его словам, что «добрый конь последние двери *пробиль* и старца *смяль*» [4, с. 292]. (В виде старца предстал Бова). В контексте прямо описано, какие действия коня входили в состав «сминания»: «добрый конь богатырский <...> *сталъ* на задние ноги, а передними ногами *охапиль* старца, *почель* во уста целовать, аки человекъ».

Но вот что можно заметить: многозначные глаголы подразумевали лишь мелкие действия персонажей, и мелочность действий персонажей вообще преобладала в описаниях у редактора «Повести». Так, главный герой Бова предается мелочным занятиям: «почел Бова по кораблю *похаживать*» [4, с. 279] – нет богатырской размашистости. Напавших на него «Бова *сечеть* да *лесницу кладет* <...> *присек* да и за *лесницу склал*» [4, с. 289] – какая-то старательная хозяйственность. Бова «*пошелъ* промеж нищих *теснитца* <...> *почель* на обе стороны нищих *толкать*» [4, с. 291] – не важно, сильно ли толкал, но движения Бовы явно мелочные. На пиру Бова должен «*постряпотъ*, *ествъ* роздать и у поставца *постоять*» [4, с. 280] – движения совсем замирают. «Бова *почел* *добраго* коня богатырскаго по шерсти *гладить*» [4, с. 284] – движение мельчайшее. Бова «*выбралъ* розныхъ цветов, и *сплель* травеной *венецъ*, и *положилъ* себе на главу» [4, с. 281] – мелкие действия пальцами. Мелочность действий была свойственна и иным персонажам «Повести». Вот некоторые примеры из многих: «*слуга* <...> *грамоту* *принялъ*, и *челом* *ударил* <...> и *вшед* в королевские хоромы, и *грамоту* *положил* перед короля на стол. И король <...> *грамоту* *распечатывал* и *прочиталъ*» [4, с. 275]; «*королева* <...> *пошла* *месить* два хлебца *своими* *руками*» [4, с. 278]; «*увидель* Бова старца – на улице *щепы* *гребет*» [4, с. 290]; «*Симбалда* *играетъ* в гусли, а *Личарда* – в *домъру*» [4, с. 297] – все это опять-таки мелкие действия руками.

Мелочная деятельность персонажей доходила иногда до беспокойной суетливости: дядька Бовы «нача в городовую стену *бити безотступно* и кричать», так что королева стала жаловаться: «злодей наш не даст нам упокою ни в день, ни в ночь» [4, с. 278]. Или: королева «Дружневна *побежала* сама по воду и принесла воды в серебряном рукомойце» [4, с. 292].

Главная причина подобной манеры повествования заключалась в бытовом опрошении героев. Ведь личная физическая домохозяйственная деятельность, заглядывание под стол во время обеда, толкотня среди нищих, грубые ласки и пр. не входили в кодекс поведения богатырей и королевских особ, а больше соответствовали поведению простонародья.

Но можно говорить и об уничижительном и уже несерьезном отношении анонимного редактора «Повести» в конце XVII в. к богатырям и королям, к сильным мира сего. Так, когда от мало-мало-мелочных действий Бова переходит к богатырским поступкам, то выглядит он незадачливым героем, регулярно попадающим впросак: «сочилъ Бова з городовые стены, и *отшиб* Бова себе ноги, и *лежалъ* за градомъ три дни и три нощи» [4, с. 279]; «пошелъ Бова ис полаты, ударил дверми, и выпалъ кирпичъ и стены, и *прошибло* Бове главу» [4, с. 282] – оттого «у Бовы на главе рана, а в рану палець ляжат» [4, с. 292]; при поединке с другим богатырем Полканом «у Бовы мечъ из рукъ *вырвался* <...> и Бова *свалился* с коня на землю мертвъ <...> *лежал* мертвъ три часа» [4, с. 294]. Бову обвиняют: «Бова, *долго спишь*, ничего не ведаешъ» [4, с. 282, 283, 295]. Из-за этого «старецъ Пилигримъ унесъ у Бовы мечъ-кладенець и увел добраго коня-иноходца. И Бова восталъ от сна своего <...> И Бова *прослезился* <...> И пошел Бова *куды очи несутъ*» [4, с. 287].

Некоторые эпизоды в «Повести» и вовсе отдают комизмом: «храбрый витезь Бова королевичъ <...> *впед* на конюшню и ухоронился под ясли» [4, с. 277]; Бове королева предлагает: «Ты еще *детищъ младо* и не можешъ на добромъ коне сидеть и во всю конскую пору скакать <...> возми меня себе за жены места, а буди нашему царству здержатель и ото всехъ странъ оберегатель» [4, с. 284] – хорош муж и защитник! Еще: «Бова *растужися* <...> и самъ *росплакася* горко <...> и *наварилъ* Бова ествы, и *наелся* и *напился*» [4, с. 297] – вот такие переживания! «Бова *почелъ* скакать, а *метлюю* махать» [4, с. 282] – не мечом.

Другие персонажи тоже попадали в трагикомические ситуации: «два короля связаны под лавкою лежать» [4, с. 285]; равный

Бове по силе богатырь Полкан «отшелъ к лесу спать, и в ту ж пору пришли львы к Полкану сонному, и богатыря того Полкана съели всего, только оставили одни плесны ножные» [4, с. 296], причем это «плесны» собачьи (у Полкана «по пояс песьи ноги» [4, с. 294]), а неведомо отчего появившиеся львы больше нигде не упоминаются в «Повести».

Думается, редактор «Повести» не старался нарочно высмеять персонажей, представляя их в приниженном или комическом виде. Просто они, как можно предположить, превратились у редактора в развлекательные бытовые фигуры, стали служить как бы куклами-марионетками, с которыми могло приключаться все что угодно, вплоть до издевательски-карикатурных концовок: «Бова <...> положил мать свою живую во гроб, и одевал гроб камками и бархаты, погреб Бова мать свою живую в землю, и по ней сорокоусты роздал» [4, с. 300] – вот так почет!

«Развлекающее» отношение редакторов к ранее чтимым лицам, видимо, дало знать о себе в конце XVII в.: примерами этого еще являются переделки апокрифов о Соломоне и так называемая «Сказка о некоем молодце, коне и сабле» – все по спискам именно конца XVII в. Но особенно выразительно выглядит в группе подобных произведений «Слово о мужах ревнивых» по списку конца XVII – начала XVIII вв. «Человеку жена мила»; но он вовсе не домостроевский важный муж, а суетливый и совершенно не уважаемый человек: «А спать ложится, а не ляжет, а хотя паки и ляжет, и опять вскочит, и пот кроватию смотрит, и пот полатию, и под половицею ищет, и под печию заглядывают, и опять паки ляжет, и он ворошится» и т. д. [5, с. 104]<sup>1</sup>. Среди грубых лубочных развлекателей конца XVII в. оказался и создатель третьей редакции «Повести о Бове».

### «Сказание о царе Василии Константиновиче»

Странное это «Сказание» конца XVII – начала XVIII вв. о войне с «бусарманами» (в единственном списке 1750 г. РГБ, Муз., № 2432). Странность его заключается в крайней разнородности деталей и в отсутствии изображения воинских подвигов. Так, жена царя Василия царица Ирина Дмитриевна, их сын Константин и их князь лишь неизменно благочестивы, но не воинственны («царица

<sup>1</sup> «Слово о мужах ревнивых» цит. по: [5].

Ирина в трудех и в посту чуть жива ходит» [4, с. 442]<sup>1</sup>; «царица возвела руже на небо» [4, с. 443]; «мать и сынъ поднять руки на небо» [4, с. 445]; «князи костентиновския <...> вознесли руже на небо» [4, с. 443]; и пр.).

Плохие цари карикатурно злобны («бояры пошли к царю ... царь нача их бити» [4, с. 442]; «царь <...> стал велми яростень, аки звер, свергъ бошмак своеи правой ноги и удари» [4, с. 444]; «царь яростно на них взираша» [4, с. 445]; «царь <...> завопил гласомъ» [4, с. 446]). Но не воюют. В крайнем случае «оступили Костентинъ-градъ, стояли пятеры сутки <...> и не знали, что творити» [4, с. 442].

Казни и расправы – жестокие, но не как следствие битв («растопиша смолы, и роспяща ему рот, и влиша ему в рот, и предаша ему смерть» [4, с. 443]; «снял с него главу <...> и заткнул на колья» [4, с. 446]).

И самое примечательное – фактически нет воинских сцен. Богатыри ничтожны. Два богатыря из Долматова царства тоже карикатурны: «ростомъ трех сажень <...> очи – аки чаши, и оршинъ у них носы, уссы локтевые, главы котелные, бороды помельные» [4, с. 442]. Два других – из града Константина – «велми силны <...> говорить, что в трубу трубятъ», но карикатурно-нарядно выглядят: у одного «руки медью проволошной перевиты, на ногах – сапоги соромятня, потковы медныя»; а другой «на ногу припадывает, башмоки турецкия на немъ желтыя, чулки зеленыя шелковыя» [4, с. 443]. Ставший царем Константин в роли богатыря («вскоре ж всехъ побилъ смертию» [4, с. 446]) даже франтоват: «взделъ венець на главу, и наряд доброи златои, и мечъ с каменемъ, и щеломъ с каменми дорагими <...> А мать ево <...> положила на перси ево чепъ златую с каменми и привешень крестъ поклонной с мощами» [4, с. 445–446]. С богатырями легко расправляются (царь Константин «выняв мечъ свои, и пресекъ пашеи всех и сильных богатыреи, и от крови их полата кровию натекшу» [4, с. 446]). Упоминание о поединке богатырей сведено к одной краткой фразе (христианские борцы ухватили обоих «бусарман» и «разбили их смертию» [4, с. 444]).

Разнородные мотивы в повести плохо поддаются цельной интерпретации. Можно высказать пока только предположения. Отсутствие воинских описаний, подмена богатырей иными фигурами и сосредоточенность повести на раздраженных переговорах

<sup>1</sup> «Сказание о царе Василии Константиновиче» цит. по: [4]. При цитировании нами внесены исправления по первой публикации «Сказания»: [7].



христианских послов с врагами, вероятно, объясняются не богатырско-воинской, а религиозно-полемической целью автора произведения. Поэтому послы из града Константина, как сказано, «смело» в лицо ругают «бусарманских» царей и угрожают им («Господь <...> на вас, бусарманов, победу посылает и главы с вас, неверных, снимаетъ <...> Неразумный царь! Не видимъ мы такова человека на свете тебя глупея, что ты. Наш господь Бог <...> на вас победу посылает» [4, с. 444]; «о неверны и злочестивии царь <...> скоро жди на себя победы» [4, с. 445]). К послам присоединяется и сам царь Константин («азъ пришел к вам, босурманомъ, хошу аз вас всех погубити» [4, с. 446]).

На политическую полемичность автора «Сказания» указывает и главная тема произведения. Все остальные темы в «Сказании» обозначены бегло и кратко, а вот история некоего «образа» Христа (по-видимому, большого распятия в соборной церкви града Константина) прослеживается на протяжении всего «Сказания». Царь Василий Константинович обещает царю Долмату Евсеевичу: «своего господа Бога вамъ на поругания отдамъ», и бояре обвиняют Василия: «Христа, бога нашего, хочешь отдать в руки» [4, с. 442]. Затем это изображение «распята господа Бога» «понесли на градовую стену и поставили высоко» [4, с. 443]. Далее: «неверныя <...> хотели взять господа Бога на поругание», что и подтверждает турецкий царь: «Христа возму на позорище» [4, с. 444]. Потом турки обманом выманили святыню, и им «скоро Христа понесли», и турецкий царь «отсече Господу главу и на кольъ взаткнул» [4, с. 445]. В конце концов царь Константин вместе с послами «взяли с кола главу Христову и положили в ковчегъ златы с честию» [4, с. 446] и «понесли главу Христову в соборную церковь» [4, с. 447]. Намеренная неясность местами – речь идет то ли об отношении к изображению Христа, или же к самому Христу – подтверждает религиозно-политическую, но все же развлекательную направленность «Сказания», когда развлекательность приводит к нелепости.

К какому времени была приспособлена эта во многом бесвязная повесть? Н. Ф. Дробленкова объяснила турецко-татарскую тему в «Сказании» «победами, одержанными Россией над Турцией в русско-турецких войнах второй половины XVII – первой половины XVIII в. <...> начиная с петровской поры» [1, с. 96–98] (у Н. С. Демковой возникло предположение о том, что «эти мотивы “Сказания...” навеяны азовской победой Петра I и ее триумфальным празднованием» [4, с. 654]). Но торжествующая

победоносность не свойственна автору «Сказания». Напротив, христиане предстают в «Сказании» даже страдающей стороной, пытающейся себя «оборонить и за Христа пострадать» [4, с. 443]. «Сказание» в основном лишь призывает «побити неверных царей» [4, с. 443], что и осуществляется только частично: остается неясным, например, какова судьба «ханова царства» [4, с. 447] после того, как «крымский хань» [4, с. 442] был взят «в полон» [4, с. 444], а наместник царя Константина «жить в неверной стране не захотел» [4, с. 447]. Заканчивается «Сказание» осторожным выводом: «господь Богъ показал *чудо* над безбожными турки и татары» [4, с. 447] – авторское ощущение конца борьбы не проявилось, – так мы интерпретируем приведенные высказывания из данной повести.

Ближих по времени аналогий «Сказанию» пока не найдено. Элементы драматической формы (быстрые диалоги, соединенные краткими пояснениями обстоятельств и поз персонажей) побуждают неуверенно предполагать, что это конспективное «Сказание», возможно, было как-то связано с программкой-пересказом какого-то театрального действия о приключениях распятия. Мотив незавершенности борьбы с врагами, пожалуй, перекликается с похожими политическими намеками в драматических произведениях начала XVIII в.

### **Повесть об аравийском царе Амире в «Девгениевом деянии»**

«Девгениево деяние» дошло до нас только в очень поздних списках, и исследователи (в первую очередь М. Н. Сперанский, В. Д. Кузьмина, О. В. Творогов) потратили немало усилий на реконструкцию начального вида этого переводного произведения древнейшего периода. Но нас интересует как раз поздняя, вторая редакция «Девгениева деяния» в списке конца XVII – начала XVIII вв. РНБ, Погод., № 1473, в котором рассказывается не о самом Девгении, а о его родителях – аравийском царе и греческой царевне.

В этом Погодинском списке обнаруживаются авантюрные редакторские мотивы, которые предположительно можно соотнести с литературными вкусами российского общества конца XVII – начала XVIII вв.

Авантюрность повести проявляется не только в традиционных деталях – в немедленных передвижениях героев («кони же подь

ними, яко летяху» [3, с. 30]<sup>1</sup>; «по мале же времени приидоша» [3 с. 38]; и пр.) и в их воинской «дерзости». Главный герой неоднократно пытается обмануть других, в том числе собственную мать и брата («нача имь прелестию глаголати» [3, с. 36, 38]). Похищенная девица неожиданно становится на сторону своего похитителя и поддерживает его. Женщины агрессивны и играют активнейшую роль в развитии событий (вдова греческого царя и мать аравийского царя).

Но вот что особенно любопытно. Кроме главного героя – аравийского царя Амира – все персонажи повести лишены имен; абсолютно все персонажи обходятся без конкретной внешности и действуют бледными силуэтами в потоке событий, а иногда и просто невидимы («Амир царь <...> невидимъ бысть никим же» [3, с. 28]; «три срацыняне <...> невидими будете никимъ же» [3, с. 40]). Сочная авантюризм превратилась у редактора в деловитую «гисторию», что характерно, как мы думаем, для прагматичного Петровского времени.

И вот что еще в погодинском «Девгениевом деянии» указывает на новые вкусы редактора и, возможно, на обстановку конца XVII – начала XVIII вв. Упоминания битв и поединков минимальны и формальны, дело обычно кончается лишь дракой («ухватив же срацынина за горло <...> привезаша на горе у древа» [3, с. 30]; «заеде созади Амира-царя, и удари его межъ плечь <...> и ухватив же его за власы» [3, с. 34]). Больше того, царя Амира неоднократно упрашивают отказаться воевать («приими миръ <...> да ты не погубять до остатку» [3, с. 34]), и Амир быстренько принимает христианство («крестися и отвергься веры своея» [3, с. 40]).

История, конечно, фантастическая; события исходят вроде бы откуда-то с мусульманского юго-востока («Сарацынская земля», горы, «Ефрант-река», верблюды с аравийским золотом). Все это у редактора не получило ясной привязки к исторической обстановке; но, может быть, как-то отразило атмосферу русско-турецких отношений после заключения Константинопольского мира в 1700 г.?

Другой поздний повторяющийся мотив в Погодинском списке «Девгениева деяния», кажется, определеннее относится к началу XVIII в. Имеем в виду галантную тему. Эмоциональность героев несколько усилена редактором сравнительно с традицией. Все основные персонажи зримо проявляют свои чувства («нача терзати

<sup>1</sup> «Девгениево деяние» цит. по: [3].

власы главы свое и лице и нача плакати» [3, с. 28, 38, 40]; «начаша <...> слезы испущати» [3, с. 32]; «рече <...> слезно» [3, с. 34, 40]; «начаша <...> вопрошати слезно» [3, с. 36]; «рече <...> гневно» [3, с. 38]; «ужастень бысть» [3, с. 37]; «ужасна бысть» [3, с. 40]; и пр.). Все персонажи умильно обращаются друг к другу («Чада моя милая <...> Мати наша милая <...> Братия моя милая» [3, с. 30]; и мн. др.) и даже, что необычно, так же умильно обращаются к врагам («Братия срацыняне» [3, с. 30]; «Братия моя милая» [3, с. 32, 34]; «Брате <...> царю» [3, с. 34]; и т. д.). А положительные герои прочувствованно «вопяше песнь агтелскую велегласно» [3, с. 32, 34].

Галантность же вот какая. Аравийский царь Амир, похитив греческую царевну, ведет себя крайне благородно: поселил ее в шатре в прекрасном поле; где она гуляет, «там изослано поволоками златыми, а лице ея покрыто драгимъ магнитомъ (покрывалом)»; в шатре она сидит «на злате стуле»; а Амир, по признанию похищенной, весьма деликатен: «Амир-царь всегда ко мне приежьжаше единою месяцомъ и издалека на меня смотряше»; Амир и крестился «любви ради девицы тоя» [3, с. 34, 36]; «и потом Амир-царь сотвори себе особый дворъ и полаты и жити нача с своею любимую девицею» [3, с. 40], а ее матери и братьям лучше «зятя таковаго не обрести» [3, с. 36], – пожалуй, это самая подчеркнутая любовь из русских авантюрных повестей XVII – начала XVIII вв.

В общем не удивительно, что в казалось бы примитивных и консервативных простонародных повестях стали отражаться новые обычаи конца XVII – начала XVIII вв. Но вот почему? Ограничимся опять лишь предположением: простонародные редакторы повестей наивно считали современные им порядки существовавшими всегда и «вовсеки». В конце XVII – начале XVIII вв. очень упал эстетический уровень древнерусской литературы – признак завершения ее развития.

## Глава 2

### Семантика циклов внутри произведений

#### 1. Повторяющиеся мотивы и мирские интересы в цикле рассказов «Физиоло́га» по списку XV в.

Какие мотивы повторялись и почему в оригинальном по составу, притом русском (а не славянском) списке «Физиоло́га» в сборнике ГИМ, Уваров., № 515, в 4?

Прежде всего уточним датировку списка, которую по нашей просьбе с отзывчивостью взял на себя труд провести ведущий научный сотрудник Отдела рукописей ГИМ Юрий Александрович Грибов. Вот его выводы (за что ему великая наша благодарность).

«Сборник Увар. № 515 в 4-ку (по Леониду № 1788; указание формата для Уваровских шифров обязательно) не является книгой, составленной из независимых частей (по Леониду: «из шести рукописей» XVI в.). Кодикологическое изучение этого сборника (разметки тетрадей, почерков, расположения строк) показывает, что он сразу создавался как единый кодекс, хотя и при участии нескольких писцов. Его части были перепутаны при позднейшем (видимо, в начале XIX в.) переплетении. Правильный порядок расположения листов сборника: Л. 63–391, 1–62. Ряд листов и тетрадей был утрачен.

Представление о первоначальном состоянии рассматриваемого сборника важно для датировки входящего в него списка Физиолога (Л. 266 об. – 375 об.).

На листах с Физиологом встречается редкий водяной знак (филигрань). Точное соответствие ему в доступных мне справочниках найти не удалось. Он очень отдаленно напоминает знак – латинская буква «Y» с крестом (см.: *Briquet C.M. Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier des leur apparation vers 1282 jusqu'en 1600. Geneve, 1907. Vol. 3* (далее – *Брикэ*) № 9198. 1462–1474 гг., № 9199. 1469–1478 гг., № 9200. 1469 г., № 9201. 1468/1473 гг.).

На остальных листах сборника встречаются другие водяные знаки, с помощью которых датируется вся рукопись:

«голова быка», близок варианту в справочниках: *Piccard G. Die Ochsenkopf-Wasserzeichen. Stuttgart, 1966* (далее – *Пиккар*). Abteilung XIII. № 519. 1476–1478 гг.; *Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. СПб., 1899* (далее – *Лихачев*) № 3875. 1475 г.

«голова быка», близок варианту в справочниках: *Пиккар, Abteilung XIII. № 677. 1480, 1476 гг.; № 678. 1477, 1478 гг.; Лихачев. № 1186. 1485 г., № 1209. 1485 г.*

«голова быка», близок варианту в справочнике: *Пиккар, Abteilung XIII. № 717. 1478–1481 гг.*

«голова быка», близок варианту в справочнике: *Пиккар, Abteilung XI. № 203. 1475, 1476 гг.*

«буква В» в круге со стоящим на нем крестом, близок варианту в справочнике: *Брике, № 8060. 1469 г., варианты – 1469–1492 гг.*

Таким образом, Сборник Увар. № 515 в 4-ку, включая листы с текстом из Физиолога, можно уверенно датировать последней четвертью XV в. или концом 1470-х – 1480-ми гг.

Ю. А. Грибов.

8.05.2015 г.».

Теперь перейдем к нашему исследованию. Зачем понадобился этот цикл рассказов о животных и птицах в последней четверти XV в.?

Сама форма цикла не заботила составителя данного варианта «Физиолога»<sup>1</sup>. Поэтому рассказы в нем начинаются и излагаются по-разному, различаются по величине, иногда сокращают или даже пропускают толкования и какие-то упоминания о «естестве» животных, что-то смешивают и пр.

Составителя этого «ущербного» и краткого списка «Физиолога» в первую очередь интересовали не люди, а животные, их свойства. Оттого и заголовок в списке указывал только на животных: «Слово и сказание о зверех и птахах» [2, с. III]. Оттого рассказы о животных в рассматриваемом списке все-таки сохранили свою цикличность, будучи пронизаны многими повторяющимися мотивами, а вот нравоучительные обращения к человеку были настолько разнородны, что в них можно заметить лишь единственный лейтмотив – посещайте церковь («тещи ко церви», «согреися въ церкви», «шед к церкви», «тещи въ церковь», «идеши во церковь», «не вдаляи себе от церкви» [2, с. VI, IX–XIII]).

Что же касается животных, то из повторяющихся предметных мотивов складывалась целая биографическая схема, которой придерживался составитель списка. Речь велась о жизни только уже взрослых животных. Основные этапы жизни животных таковы. Рассказы часто начинались с указания внешности – с общей оценки ее («финиксь красна птаха есть» [2, с. VI]; «дятель пестра

<sup>1</sup> «Физиолог» (список ГИМ, Уваров., № 515) цит. по: [2].

птица есть» [2, с. IX]; «стеркъ добра птица есть» [2, с. XV]); указывался и конкретный цвет птиц («голубици <...> ходят белыи, и пестрыа, и черныа, и чермныа» [2, с. XII]) или наряд птицы («финиксь уакинфовъ и каменя многоценна венець носит на главе и сапогы на ногу» [2, с. VII]). Описывалась составная внешность фантастических существ (горгона «обличие имат жены красны и блудница, власы же главы своеа суть змиа» [2, с. X]; «ехидна есть от полу и выше имат образъ человекъ, а полъ ея и ниже имат образъ коркодилъ» [2, с. XII–XIII]; «утропъ иматъ от полу и до выше образъ коневъ, а полъ его и до ниже образъ рыбии китовъ» [2, с. XIV]).

Иногда определялось «социальное» положение животных или птиц («финиксь <...> яко же царь» [2, с. VII]; «утропъ <...> есть во евода всем рыбама» [2, с. XIV]; «стерково воинство» [2, с. XVI]).

Сообщалось, где живут животные (антилопа «живет же близъ реки-акиана на крайны земли» [2, с. IV]; «слонъ живеть на горах Слоница» [2, с. V]; горгона «живет же в горах западных» [2, с. X]; и т. д.). Птицы живут в гнездах («дятель <...> где налезеть мякко древо, ту творит гнездо свое» [2, с. IX]; и пр.).

Отмечалось природное окружение животных и птиц, обычно деревья, но не только (антилопу опутывает «древо, нарицаемо танись, подобно зело винней [лозе] добрами ветми и густо прутиемъ» [2, с. IV]; «слонъ <...> спить же при древе» [2, с. V]; «финиксь <...> лежить <...> на кедрех ливаньскихъ» [2, с. VII]; «горлица <...> сядет на усхле древе» [2, с. VIII]; «дятель <...> ходит на кедры» [2, с. IX]; «змиа <...> влезеть в камену расселину» [2, с. XI]).

Упоминались те, кто приходит к животным или птицам (ко львице «приидет левъ» [2, с. III]; к упавшему слону «приидет слонъ великъ <...> приидет инъ малъ» [2, с. V]; у горгоны «звери, от человека до скотины, и птицъ, и змиа <...> идуть к неи» [2, с. X]; «утропъ <...> идет <...> ко златои тои рыбе» [2, с. XIV]; и пр.).

Постоянно указывались занятия животных и птиц, зачастую агрессивные (антилопа «бореться со землею и чешет роги своими» [2, с. IV]; «елень <...> змию <...> пометаеть» [2, с. VI]; «дятель <...> клюет носом своим» [2, с. IX]; лисица на птиц «воскочивши и имет от них, и есть» [2, с. IX]; «егда узрит человека змиа <...> пришедши, бореться с ним» [2, с. XII]; «во брани бьющимся птицам, и отпадению перию бес числа ... падають мертвы» [2, с. XVI]; и т. д. и т. п.).

Далее говорилось о корме и питье существ («финиксь <...> питаеть же ся от святого духа» [2, с. VII]; «лисица <...> ся кормит» [2,

с. IX]; «ехидна <...> к мужевии изъесть лоно его» [2, с. XIII]; «утропь <...> близь реки <...> пьет от нея и упивается» [2, с. IV]; «елень <...> пьет воду» [2, с. VI]; «змиа <...> поидет пити води» [2, с. XI]; и т. п.). Следующий этап в предметной биографической схеме – это рождение детей у животных после «гона» и птенцов у птиц («раждает лвица» [2, с. III]; «слоница <...> взыдет в реку до вымени и раждает в воде» [2, с. V]; ласка «родит двое» [2, с. X]; «неясыть чадолюбива птаха есть» [2, с. VIII]; «стеркъ чадолюбива птица есть» [2, с. XIII]; «овдод <...> воспитает птенца своя» [2, с. IX]; «голубици <...> кормят птенци свои» [2, с. XII]; и мн. др.).

Завершали биографическую схему попадание животного к «ловцу» или старческая слепота («орель <...> ослепнетъ очи его, да не видит» [2, с. VI]; «состарееет змиа и не видит» [2, с. VI]; «стеркови <...> состареютъ <...> не видети начнут» [2, с. XIII] и, наконец, смерть («наченши от лва и прочаа звери, от человека до скотины и птиць и змиа <...> измирают» [2, с. X]).

Составитель рассматриваемого списка «Физиолога», разумеется, не заполнял подробную биографическую анкету на каждый вид животных и птиц. Его интересовали лишь любопытные моменты из их жизни. Какие моменты он считал удивительными – это тема особая. Мы же попытаемся ответить на иной, более общий вопрос: зачем составитель списка (редактор или писец) следовал биографической схеме, рассказывая о своих персонажах?

Схема эта, в отличие от конкретных фактов, вполне реалистическая, она выделяет основные константы обыденной жизни животных и птиц – то, чему в человеческой жизни соответствуют «сласть житейскаа» и «житейскаа напасть» [2, с. IX–X]. Таких пунктов примерно десять: 1) о взрослых существах; 2) о внешности; 3) о социальном положении; 4) о местожительстве; 5) о природном окружении; 6) о посетителях; 7) о деятельности; 9) о питании; 9) о парах и детях; 10) о болезнях и смерти.

Конечно, перевод «Физиолога» с греческого уже передал канву животного «биографизма» памятника. Но чему подобное литературное явление было созвучно именно на Руси XV–XVI вв.? Ведь сходную склонность к описанию объектов, а не событий, к «биографизму» и умалению нравоучительности проявили и некоторые другие списки «Физиолога» в XVI в. (РНБ, СПб. Дух. ак., № 1458 и РГБ, Пискарев., № 143 [2, с. 147–148 и 158]), а также произведения последней четверти конца XV в., составленные из отдельных эпизодов, пронизанных повторяющимися предметными мотивами.



Аналогии можно найти в трех, очень разных памятниках – в «Сказании о Дракуле-воеводе» по списку 1491 г. и в «Повести о житии Михаила Клопского» по списку первой половины XVI в., а также – частично – в «Хожении» Афанасия Никитина по списку первой четверти XVI в.

В «Сказании о Дракуле»<sup>1</sup>, в повторяющихся мотивах рассказов, находим сходную схему жизни Дракулы. Вырисовывается автором обыденное «житие его», как Дракула «живяше в Мунтианской земли» и «возлюбил <...> временного света сладость» [3, с. 554, 563, 564]. Дракула появляется в повести уже взрослым человеком – воеводой и, как неоднократно подчеркивается, «великим государем». Живет «в Мунтыанской земли» [3, с. 554]. Что видим «о круг двора» его в «граде» [3, с. 558]? – Видим «источникъ его и кладязь на едином месте <...> у того кладязя <...> чару велию и дивну злату» [3, с. 336]; «возь <...> на улицы града пред полатою и товаръ <...> на возе» [3, с. 558]; «кожу <...> на столпе среди града и торго» [3, с. 560]; «бочки железны <...> реку» [3, с. 562]; «гору» [3, с. 564] и пр.

Рассказывалось, кто приходил к Дракуле («придоша к нему некогда от турьскаго поклисарие» [3, с. 554]; «от многих странъ <...> прихождаху людие мнози» [3, с. 556]; «придоша к нему от Угорския земли два латинска мниха»; «прииде купецъ-гость некий от Угорския земли» [3, с. 558]; «прииде от угорскаго короля <...> апоклисарь <...> боляринъ, в лясех родом» [3, с. 560] и т. д.).

Особенно подробно живописались излюбленные занятия Дракулы – казни («повеле им гвоздиемъ малым железным ко главам прибити капы» [3, с. 554]; «нищих и странных <...> повеле <...> зажещи огнем» [3, с. 558]; «жена <...> веляше срамъ ей вырезати <...> сосца отрезаху <...> повеле ей руке отсеци» [3, с. 560]; «мастеровъ <...> посети повеле» [3, с. 562]; и т. д. и т. п.). А сажанием на кол заканчивался почти каждый эпизод, отчего окружало Дракулу «множество бесчисленное людей на колехъ и на колесех» [3, с. 558], даже «на колех саженых множество бо округ стола его» [3, с. 560].

Застаем Дракулу и «на обеде», когда он «некогда ж обедоваше» [3, с. 560].

Наконец, тема смерти пронизывала весь цикл рассказов о Дракуле с самого начала («смерть помышляти» [3, с. 554]) и до конца («аще ль велики боляринъ, иль священник, иль инок, или

<sup>1</sup> «Сказание о Дракуле» (список РНБ., Кир.-Белоз., № 11/1088) цит. по: [3].

просты <...> не может искупиться от смерти» [3, с. 556]; «обедоваше под трупиемъ мертвых человекъ» [3, с. 560]; «повинень <...> смерти» [3, с. 562]; «убиень бысть» [3, с. 564]; и т. п.).

Таким образом, в основе цикла странных или фантастических рассказов о Дракуле автором мыслилась реалистическая схема обыденной жизни объекта: из десяти мотивов повторено восемь (нет о внешности Дракулы, а о его детях упомянуто в конце повести).

Теперь рассмотрим «**Повесть о житии Михаила Клопского**»<sup>1</sup>, также составленную из цикла эпизодов с повторяющимися мотивами, которые на этот раз характеризуют у автора не столько Михаила, сколько жизнь самого Клопского монастыря. Чаще всего автором упоминаются монастырские строения (например, «келья отомчена <...> окно в келью <...> у кельи двери» [3, с. 334]; «келью топилъ наземомъ» [3, с. 344]; «горнь раскопати» [3, с. 346]; «по водицу къ церкви <...> кладязь неисчерпаемый»; «устрой церковь каменную <...> камение в лодьях» [3, с. 339]; и др.). Регулярно автор называет хозяйственные предметы («сесть на стуле, а пред ним свеща горить» [3, с. 334]; «сеядчи <...> за столом <...> в руках ширинка» [3, с. 342]; «даль, с себе снемъ, шубу» [3, с. 344]; «панагею украл» [3, с. 346]; «ловци тоню волокут» [3, с. 340] и т. д.).

Природное окружение не забыто («на пискú лежалъ» [3, с. 344]; «земля мерзла <...> земля тала» [3, с. 346]; «по реки <...> по болотомъ» [3, с. 340]; «пойде <...> на берегъ» [3, с. 338]; «олень <...> за мошком идет» [3, с. 344]; «взяша конь воронь изъ монастыря» [3, с. 346]; «погодье велико две недели... И бысть в утре тишина» [3, с. 338]; «бысть буря велия» [3, с. 338] и др.).

Затем в соответствии с уже знакомой нам схемой, из эпизода в эпизод прослеживаются приходы и приезды в монастырь («прихождение Михайлово <...> на Клопско» [3, с. 334]; «явились три мужи <...> приехал князь Костянтинъ Дмитреевичъ» [3, с. 338]; «приеде владыка на Клопско» [3, с. 342]; «приехал посадникъ Иванъ Васильевичъ Немиръ на монастырь» [3, с. 346] и пр.).

Постоянно говорится о богослужебной деятельности и обедах («въ трапезу хлеба ясть» [3, с. 336]; «хлебъ им ясти в трапезе» [3, с. 338]; «пошли в трапезу и поставя обед» [3, с. 342]; «пить и есть от трапезы» [3, с. 346] и пр.).

<sup>1</sup> «Повесть о житии Михаила Клопского» (список РГБ, Волоколамск., № 659).

И, наконец – о болезнях и смерти персонажей («нача сердцемъ стонати <...> разболелися» [3, с. 336]; «у него рука, и нога, и языкъ проч отнялся и не говоритъ» [3, с. 342]; «досягнеши трилакотнаго гроба» [3, с. 344]; «с тех месьт у попа ни ума и ни памяти», «его в животи нетъ» [3, с. 346] и т. п.).

Итак, из традиционной схемы обыденной жизни в «Повести о житии Михаила Клопского» повторено автором тоже восемь мотивов из десяти (без описания внешности действующих лиц и, естественно, без упоминания детей). Остается сказать о **«Хождении Афанасия Никитина»**<sup>1</sup>, где указанная схема повторяющихся мотивов при описании обыденной жизни проявилась, пожалуй, раньше всех произведений второй половины XV в., но только в главной части «Хождения» – описании Индии. Речь идет о взрослом населении. О внешности индусов говорится часто (типичные отрывки: «люди ходять нагы все, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы въ одну косу плетены <...> а мужи и жены все черны» [4, с. 332]; «а жонкы все нагы, толко на гузне фота <...> да на шияхъ жемчюгъ много яхонтовъ, да на рукахъ обручи да перстыни златы» [4, с. 337] и мн. др.). Очень различаются простые бедные индусы и знатные богатые, вплоть до султана.

Об индийской природе рассказывается многократно и многообразно (например: «во Индейской же земли кони ся у нихъ не родять; въ ихъ земли родятя волы да буиволы» [4, с. 333]; «мамоны ходять ночи да имають куры, а живутъ въ горе или въ каменье; а обезьяны то те живутъ по лесу» [4, с. 335]; «да всякого коренья родится <...> много; <...> на горе на высоте <...> родится каменье драгое <...> да слоны родятя» [4, с. 338]; «зима же у нихъ <...> ежедень и ночь 4 месяца, а всюда вода да грязь» [4, с. 333]; «варно да ветръ бываетъ <...> душно велми да парищо лихо» [4, с. 341]; и т. д. и т. п.). О мирных занятиях индусов почти не рассказывается; зато очень внимательно описываются торжественные грозные процессии и особенно военное дело – количество воинов в «ратях» у разных правителей, кто с кем воюет и вооружение («щитъ да мечъ въ рукахъ, а инья съ сулицами, а ины съ ножи, а инья съ саблями, а иньи съ луки и стрелами» [4, с. 333]; «а бой ихъ все слоны, да пешихъ пускають нарередъ <...> а къ слономъ вяжутъ къ рылу да къ зубомъ великия мечи» [4, с. 334]; «а на всякомъ по 4 человеке съ пицалми» [4, с. 342]; и т. д. В адрес Афанасия Никитина можно воскликнуть: «Ай да купец-наблюдатель!»).

<sup>1</sup> «Хождение Афанасия Никитина (список РГАДА. Ф. 181. № 371) цит. по: [4].

Сведения о еде, отношениях полов и детях тоже повторяются регулярно (например: «боранину, да куры, да рыбу, да яйца ядять, а воловины не ядять никакаа вера <...> а вина не пияють <...> а ества же ихъ плоха <...> да травы розныя ядять <...> а ядять все рукою правою» и пр. [4, с. 336]; «а все ходять брюхаты, дети родять на всякый годъ, а детей у нихъ много <...> а паропкы да девочки ходять нагы до 7 летъ, а соромъ не покрытъ» [4, с. 332–333]).

О смерти упоминается лишь однажды, да и то мистически («есть <...> птица гукукъ, летаетъ ночи, а кличетъ “гукукъ”; а на которой хоромине седить, то тутъ человекъ умреть» [4, с. 334–335]).

В общем, схема обыденной жизни в «Хожении» тоже насчитывала восемь повторяющихся мотивов, сходных с «Физиологом», «Сказанием о Дракуле», «Повестью о житии Михаила Клопского» по спискам последней четверти XV – первой половины XVI вв.

Почему в это время на Руси стали появляться циклы рассказов не о событиях, как раньше, а об объектах – людях и животных? Одной из причин, как мы считаем, было пробуждение и усиление материально-хозяйственных интересов русского общества во время падения ордынского владычества на Руси. Оттого сквозь рассказы о фантастических странностях и парадоксах объектов повествования начала проглядывать их бытовая и хозяйственная жизнь и участились упоминания о материальном достатке и деньгах. Ср. в уваровском варианте «Физиолога» специфические замечания: «ты, человек, егда твориши милостыню, да не чюет леваа рука, что творит десница твоя <...> река акианьска есть богатство» [2, с. IV]; «ты, человек, елико богатство собираеши, не имаши сыти, но еси на все несытъ» [2, с. VIII]; «все перины имеют на постелях своих <...> да будет гобина пшеница и прочих всех семень <...> да будет множество овецъ и говядь и инехъ четвероног» [2, с. XVI]; и др.

В цикле рассказов другом объекте – о Дракуле и о его «земле» – тоже отразились материально-хозяйственные интересы составителя повести: денежные и торговые («со всею казною <...> ити на службу» [3, с. 556]; «повеле дати 50 дукать злата; <...> украде <...> 160 дукать; <...> купец же <...> злато <...> прочет единою и дващи» [3, с. 558]; «бочкы железны <...> насыпа их злата» [3, с. 562]; «птица на торгу покупая <...> научися шити и темъ <...> кормляшесь» [3, с. 562, 564]). Ставились вопросы богатства и бедности («никто ж да не будетъ нищъ <...> но вси богатии» [3, с. 558]; «узре на <...> сиромаше срачицю издрану, худу» [3, с. 560]).

В цикле рассказов об еще одном объекте – Михаиле Клопском в монастыре – хозяйственные мотивы были еще более влиятельны («урядися ... с мастера и даст имъ задатка 30 рублевъ, а после имъ взяти 100 рублевъ да по однорядки» [3, с. 338]; «не пускай ни коней, ни коровъ на жары» болотистые [3, с. 340] и т. д.).

Что же касается «Хожения» Афанасия Никитина, то его заботы о деньгах, о дешевизне и дороговизне товаров, о базарах и торгах, о продажах и покупках проявлялись непрерывно.

Вполне естественно, что материальная стихия последней четверти XV в. побудила редакторов и авторов произведений сосредоточиться на характеристике материальных, физических объектов (см. еще: [1, с. 224–241]).

Но почему в очень разных произведениях этого времени повторялись мотивы именно по сходной схеме обыденной жизни? Думается, тогда начал вырабатываться свод правил поведения для светского человека как предтеча будущего «Домостроя». Вот почему в уваровском «Физиологе» настоятельные советы касались не только посещения церкви: «ты, человек, <...> егда согрешити, теци <...> ко источнику живу книжну» [2, с. VI]; «ты, человек, отлучися еси жены своя, – к тому не прилепися к ней» другой [2, с. VIII]; «ты, человек, егда ся состарееши, не отчаи себе» [2, с. X].

«Сказание о Дракуле» содержало еще больше провозглашаемых правил светского поведения, в том числе такие: «...леность имеши к мужу своему. Онъ долженъ сеяти, и орати, и тебе хранити, а ты должна еси на мужа своего одежду светлу и лепу чинити» [3, с. 560]; «прочии же да <...> учими будутъ, какъ имъ съ государьми великими беседовати» [3, с. 562].

В «Повести о житии Михаила Клопского» суровые советы о поведении тоже высказывались: «не украдите, ни разбiete, оставите греховъ своих» [3, с. 336]; «зачинающимъ рать Богъ его погубить» [3, с. 342]; «что <...> за дума <...> ж жоньками?» [3, с. 346].

Афанасий Никитин все сокрушался нарушению норм поведения мирского человека: «иже кто по многимъ землямъ много плаваетъ, во многыя грехы впадаетъ и веры ся да лишаетъ христианские» [4, с. 339], «а праваа вера – Бога единого знати» [4, с. 343].

Таков небольшой эпизод из истории древнерусских литературных циклов внутри произведений XV в. Любопытно, как во второй половине XV в. сочетались государственно-трагические и приземленно-хозяйственные интересы у одних и тех же авторов.

## 2. Искаженный мир в цикле снов царя Шахаиши по списку XV в.

Переводное «Сказание о двенадцати снах Шахаиши» исследователи относят ко времени чуть ли не Киевской Руси; нам же интересно позднее бытование этого памятника в России, начиная с его древнерусского списка 1450–1470-х гг. (РНБ, Кир.-Белоз., № 22 / 1099 (см. [1, с. 3–4; 2, с. 3–105]). Чем это древнее и странное «Сказание» вдруг стало созвучно русскому пятнадцатому веку и, в частности, автору списка Ефросину? Мы скажем лишь о литературном возможном созвучии, о настроениях опасливости у этого книжника.

«Сказание» в списке Ефросина содержит «вся сны по ряду»<sup>1</sup> – мелкий цикл из двенадцати единообразных кратких сообщений о снах, виденных друг за другом в одну ночь, и их нравоучительно однотипных толкований. Изобразительны именно сообщения о снах, примерно в четырех фантастических ситуациях. Во-первых, фигурируют загадочные предметы, как-то связанные с небом: «столпъ златъ от земля до небесе стоящъ»; какое-то брюхо или, скорее всего, брюхатый творог свисает с неба («с небесе до земля сыръ брюхъ висящъ» [1, с. 6]; вроде бы с неба «висящи три котлы» с кипящими маслом, салом («лои») и водой.

Затем видение переходит на землю, и являются странно ведущие себя земные животные: почему-то старая кобыла с жеребенком, которой серый конь («оръ бронъ») дает траву, а жеребенок лижет коня [1, с. 7]; другой же «конь красень ядущъ траву двема главама: едина бе спреди, а другая назади» [1, с. 8]; тут же «щеница <...> брешущи, и въ чреве ея брехаху щенята» [1, с. 7].

Третья ситуация – состояние самой почвы: «щеница <...> лежаще на гноищи» [1, с. 7]; «множество иереи в калъ впадша до горла <...> не могуще вылести» [1, с. 8]; «по вселенеи бяше рассыпано камени драгих множество, и бисерь, и жемчюгъ, и всехъ различныхъ узорочии; и прииде огнь великъ и пожже все» [1, с. 8]; под «вселенеи» подразумевается населенная земля, скорее всего, на востоке).

Наконец, появляются люди и сразу же пропадают: «многим ремесвеником принесоша дела своя людие <...> паки приидоша <...> и не обретоша ничто же» [1, с. 8]. Другие люди ужасны: «3 жены <...> по земли ходяща злообразны суца»; «люди <...> у

<sup>1</sup> «Сказание о двенадцати снах царя Шахаиши» цит. по: [1].

мнозехъ бяху тесна очеса, власы въ вьстрень (колючие?), ногты великы, суровы суща» [1, с. 9]. И вдруг на этом фантазмагорическом фоне бредет маленькая красивая процессия: «3 девкы зрчны ходяща, възрастом лепы, в версту 15 лет сущи, различны венца носяща на главах и въ руках, и благоюханныя цветца держаще» [1, с. 9].

О тяготении кирилло-белозерского книжника Ефросина к широкому энциклопедическим и природоведческим знаниям хорошо известно (работы Я. С. Лурье); но в данном случае Ефросина, видимо, заинтриговал некий искаженный мир с необычными, пугающими деталями. Об этом свидетельствуют и толкования снов Шахайши, переносящие искажения из мира сонного, но как бы существующего, в мир призрачно-реальный: «и будут глади, стихия пременят обычая своя <...> среди лета зима будет <...> земля съкратится <...> и звезда хвостатая явится <...> и земли трясение, гради падут мнози» и пр. [1, с. 5–6]. Оба мира мыслятся удаленными, где-то «от вьстока» [1, с. 5], ведь толкователь снов предупреждает Шахайши: «не суть на тя, ни въ твоє царство, ни суть тебе на зло, ни твоему граду на пакость» [1, с. 4–5].

Тут сто́ит поговорить о Ефросине. Ефросин подбирал старые произведения с удаленными, странными, искаженными мирами и в других своих сборниках. Например, в сборнике 1490–1491 гг. (РНБ, Кир.-Белоз., № 11 / 1088) Ефросин переписал почти друг за другом несколько таких произведений. Сначала – «Александрию» (так называемую «сербскую»), где описываются восточные земли с золотыми столпами и драгоценными камнями, но с ужасными обитателями (люди шестиногие и шестирукие или же, напротив, одноногие; собачьеголовые или полулошади; тысячесаженные и т. д.; гигантские хищные муравьи величиной с коня; сушеные рыбы, которые вдруг оживают; озера, переполненные змеями, и мн. др.).

Затем Ефросин переписал древнее «Сказание об Индийском царстве», тоже со странными людьми (в том числе рогатыми или с очами и ртом на груди), с опасной природой (крокодил мочится на дерево, и оно тотчас сторает; птица вьет себе гнездо на 15 дубах; черви живут в огне; песочное озеро с валами, бьющими вглубь берега на 300 верст; и т. д.). Но опять-таки Индия с золотыми столпами и массой драгоценных камней.

Сразу же после «Сказания об Индийском царстве» Ефросин переписал еще и «Сказание о Дракуле-воеводе» – на этот раз произведение новейшее, появившееся не позднее 1485 г. (по

предположению Я. С. Лурье), и уже не о Востоке, а о западной, валашской (румынской) области. Но страшноватый, искаженный мир составлял суть и этой повести: разные казни (прибивание шапок гвоздями к головам, бесконечное сажание людей на кол, сожжение нищих, вырезание «срама», отсечение рук и пр.); извращенные вкусы (обед среди смрада от посаженных на кол трупов). Кроме этого сборник № 11 Ефросин начинил множеством выписок из «Физиолога», «Космографии» Козмы Индикоплова и «Хождения» игумена Даниила – о странных животных и удивительных, но опасных местах на Востоке же.

Объяснить энциклопедичность подобного рода представлением Ефросина об окруженности Руси преимущественно «неправильными», искаженными и даже уродливыми мирами. Однако остается неясным, соотносил ли Ефросин эти дальние земли с Русью или хотя бы с христианским миром. Прямых признаний Ефросина по этому поводу нет. Лишь одно переписанное им произведение, пожалуй, содержит такую связь – «Задонщина» в сборнике 1470-х гг. (РНБ, Кир.-Белоз., № 9/1086). В Ефросиновой «Задонщине» зловеший, встрепанный, искаженный мир находится рядом с Русской землей: «всташа силнии ветри с моря, приледеяша тучю велику <...> на Русскую землю. Ис тучи выступи кровавая оболока, а из нихъ пашють синие молнии... Тогда же гуси гоготаше, и лебеди крылы въсплескаша <...> вороны грають <...> орли восклегчють, волци грозно воють, лисици часто брешють» [3, с. 549] и пр.<sup>1</sup> Тут сразу вспоминается «Слово о полку Игореве», недаром находившееся вместе со «Сказанием об Индийском царстве» в недошедшем до нас Мусин-Пушкинском сборнике, кажется, конца XV в. Что же касается Ефросина, то ему, наверное, будет естественней приписать «взгляд вдаль» – интерес к необычным дальним мирам, объяснимый атмосферой свободы после падения гнетущей зависимости от Орды.

И дело не только в Ефросине. Другие книжники во второй половине – конце XV в. стали охотно переписывать те же «Физиолог», «Космографию», «Хождение игумена Даниила». Характерно для интересов того времени «Сказание о Вавилонском царстве», тоже в списке XV в., с описанием таинственно искаженного мира: далекий, давно покинутый город, заросший «былиемъ» и объятый гигантским дремлющим змеем; палаты, кишашие гадами; голос из гробов; и т. п.

<sup>1</sup> «Задонщина» цит. по: [3].



Наконец, Афанасий Никитин и сам лично побывал в подобной дали «куда его очи понесли», и его «Хождение» неоднократно переписывали в конце XV в., ценя описания редкого несходства и опять-таки искаженности индийского мира сравнительно с русским. Повторим, что мы только предполагаем стихийное усиление «взгляда вдаль» у книжников второй половины – конца XV в., так как они не разъясняли свою позицию при переписке памятников. И последнее. Рассказы о причудливых мирах содержали великое множество ярких хозяйственно-бытовых деталей, что тоже находило отклик у книжников XV в., очень неравнодушных к богатствам, драгоценностям и товарам.

### 3. «Повести о Николе Заразском» как трагический цикл

В летописях XIII–XVI вв. рассказы о нашествии Батыя, как правило, не составляли цикла, сводились к одной или двум большим повестям, отделенным иными сведениями. Так, в «Никоновской летописи» повествование на данную тему состояло из двух иностранных рассказов – «Батыева рать» под 1237 г. и «О Батыи» под 1239–1240 гг., а общей литературной чертой обоих рассказов сравнительно с предыдущими летописями была лишь усиленная слезливость персонажей.

По нашим предварительным наблюдениям, впервые рассказы о Батые объединились в непрерывный цикл в «Хронографе 1512 г.»<sup>1</sup>. Редактор уже считал эти рассказы единым целым («Хощю рещи, о друзи, повесть...» [3, с. 396]) и создал из них единую главу («Глава 195») с однотипными подзаголовками, прослеживая всю историю про Батыя с начала и до конца («О взятии Москвы»; «О взятии Володимеря»; «О убиении великаго князя Юрья»; «О убиении Василька Коньстантиновича»; «О шествии Батыя в Новгородскую землю»; «О мучении великаго князя Михаила...»; «О убиении Батыя» [3, с. 397–400]).

Однако сквозные литературные мотивы всего цикла в целом оказались бедными: часто повторялись лишь формулы о битвах и убиенных. Цикл был фактографическим, что соответствовало основной цели «Хронографа».

Поиски последующего цикла о нашествии Батыя приводят к «Степенной книге», к седьмой степени, начиная с ее главы 9 («О гневе Божии и о нахождении безбожнаго Батыя на Русскую

<sup>1</sup> «Хронограф 1512 г.» цит. по: [3].

землю») и по главу 14. Это по общему содержанию житийно-мученический цикл о «страданиях» (ср. названия разделов: «Плачь и страдание великаго князя Георгия Всеволодича»; «Страдание блаженнаго князя Василя Ростовскаго»; «преславных подвиги» «святыхъ новоявленныхъ великомученикъ и исповедникъ великаго князя Михаила Черниговскаго и боярина его Феодора» [4, с. 496–514]) – с молитвами и обличительными речами персонажей, пренесением их мощей и пр. Батый по существу является второстепенным персонажем. Составитель «Степенной книги» вряд ли пытался выделить эти рассказы в отчетливый литературный цикл. Напротив, он раздробил материал на главы, притом очень разные по величине (например, глава 11 – крошечная, а глава 14 – громадная). Всё подчинено структуре и благочестивому стилю «Степенной книги».

Самым же интересным в литературном отношении циклом XVI в. на Батыеву тему надо признать «Повести о Николе Заразском» – в том виде, как они дошли до нас в Основной редакции А (по классификации Д. С. Лихачева), в списке РГБ, Волоколам., № 523. Наблюдения Б. М. Клосса показали, что «год составления всей Повести о Николе Заразском – 1560 г.», а «датировать список Повести можно именно 1573 г.» [1, с. 454, 418].

Цикличность «Повестей о Николе Заразском»<sup>1</sup> на первый взгляд не совсем ясна (поэтому Д. С. Лихачев называл этот памятник то циклом, то сводом). Но важные литературные признаки цикла – осознанные автором настойчивые повторы мотивов – тут уже присутствуют. Во-первых, повествование о судьбе Рязани несколько раз сначала предваряется у составителя кратким изложением и объяснением содержания последующих более подробных рассказов («В лето 6730. Приход из Корсуня чудотворнаго Николы образа Заразскаго, како приде <...>» [2, с. 282]; «В лето 6733. При великом князе Георгии Всеволодовичи Владимирском <...> принесен бысть чудотворный образ <...> Николы Корсунскаго Заразскаго из <...> Херсони в пределы резаньския <...>» [2, с. 282]; «В лето 6732-го. Явися <...> чудотворецъ Николае Корсунской в <...> граде Харсунии <...> в привидении» [2, с. 283]; «В лето 6745. Убиен бысть <...> князь Федор Юрьевич Рязанский <...> И услыша <...> княгиня Еупраксеа <...> и абие ринуся ис превысокаго храма <...> И от сея вины да зовется <...> Николае Заразский, яко <...>» [2, с. 287].

<sup>1</sup> «Повести о Николе Заразском» цит. по: [2].

Второй признак получившейся цикличности у составителя: повествование о судьбе Рязани сложено из эпизодов со сменяющимися друг друга героями. Сначала рассказывается о великом князе Владимире Святославовиче Киевском; затем следует эпизод о корсунском церковнослужителе Остафии; далее рассказывается о князе Федоре Юрьевиче Рязанском; после вставляется эпизод о княгине Евпраксии; затем в дело вступает великий князь Юрий Ингóрович Рязанский; потом фигурирует князь Олег Ингóрович; дальше помещен эпизод о разорении Рязани; следующий эпизод – о Евпатии Коловрате; заключительный эпизод цикла – о князе Ингваре Ингóровиче. Всего 9 эпизодов с разными героями, а десятый «эпизод» – это похвала рязанским князьям в конце цикла. И еще прибавлено сообщение о Козме Ингóровиче.

Третий признак цикличности: все эпизоды у составителя более или менее однотипны драматичностью мотивов. Так, действия и перемены состояния персонажей стремительны («воскоре исцеле» [2, с. 283]; «в той час прозре» [2, с. 264]; «вскоре взя» [2, с. 285]; «вскоре иде» [2, с. 286]; «воскоре посла» [2, с. 287]; «ускори» [2, с. 289]; «гнаша скоро», «внезапу нападоша» [2, с. 293]; и мн. др.); длинный перечень деяний в похвале смоленским князьям показал их в непрерывном энергичном действии «паче меры», «от самых пелен» [2, с. 300]: «многи труды и победы <...> показаста <...> часто бьяшася <...> без лености» [2, с. 301].

Все основные персонажи этого драматического цикла испытывали болезненные ощущения или подвергались физическому насилию: Владимир Святославович «разболеся <...> очима и ничто же не видяше» [2, с. 283]. Остафия Никола-Чудотворец «утыкая в ребра» [2, с. 283], затем «абие нападе на нь болезнь главная <...> абие ослепе, и нападоша на очию его, яко чешуя» [2, с. 283–284], да и у жены его «абие раслабе все уды и телеси ея» [2, с. 285]. Федора Юрьевича Батый «повеле вскоре убити <...>, а тело его повеле повреци зверем и птицам на разтерзание» [2, с. 289]. Евпраксия «заразися до смерти» [2, с. 289]. Олега Ингóровича Батый «вскоре повеле <...> ножи на части роздробити» [2, с. 291]. По Евпатию Коловрату «нача бити <...> ис тмочисленных пороков и едва убиша его» [2, с. 294]. Ингварь Ингóрович так страдал, что «едва отльеяша его и носяща по ветру» [2, с. 296].

Драматичность цикла выразилась также в острой чувствительности буквально всех персонажей («нача скорбети и плакаться» [2, с. 284]; «испуская слезы от очию, яко струю» [2, с. 286]; «горько плачущися <...> плакашеся <...> на мног час» [2, с. 289];

«воскрича в горести» [2, с. 293]; «жалостно возкричаша» [2, с. 296]; или: «бысть убо тогда многи туги, и скорби, и слез, и въздыхания, и страха, и трепета» [2, с. 298]; «нача ужасатися <...> в боли страх вниде» [2, с. 283]; «страхом объят бысть» [2, с. 286]; «возярися» [2, с. 297] и мн. др.). На «умилительность» цикла указал его составитель: «Кто бо не възплачетца <...> хто не възрыдает <...> хто не пожалит <...> хто не постанет <...>» [2, с. 296].

Наконец, цикл у составителя клонился в сторону острой трагичности. Персонажи бессильно лежали: жена Остафия «быша, яко мертва, и недвижима <...> яко <...> при кончине живота ея» [2, с. 285]; убитого Федора Юрьевича застали «ником брегома» [2, с. 289]; русские князья «вси вкупе мертвии лежаща» [2, с. 291]; жители Рязани «вси вкупе мертви лежаща» [2, с. 292]; «множества народа лежаща» [2, с. 293]; «все воинство <...> лежаща на земли пущесте <...> никим брегома» [2, с. 297]; Ингварь Ингбóревич «лежаще на земли, яко мертв» [2, с. 296].

Почему именно в 1573 г. (если датировка Б. М. Клосса верна) был переписан этот трагический цикл? Не касаемся причин церковных, но укажем на возможную причину воинскую: в 1571 г. крымский хан Довлет-Гирей, объявив себя вторым Батыем, напал на Россию, сжег Москву и опустошил Рязанское княжество, после чего города стали активно восстанавливаться. Не этими ли событиями был пробужден интерес к «Повестям о Николе Зарзаском»?

Кстати, в тексте есть еще одна деталь, может быть, отсылающая к 1570 г.: жена Остафия «едина от безумных жен» [2, 285], захотела жить в Новгороде Великом, а не в Рязани, за что ее жестоко наказал Никола-Чудотворец, – вспомним о походе Ивана Грозного на непокорный Новгород в 1570 г. и на новгородцев, «ничто же разума имущих».

#### **4. Библейский цикл стихов Мардария Хонькова: элементы театральности**

Многие исследователи писали о Мардарии Хонькове и о его стихах 1679 г. к гравюрам «Библии» 1674 г. Николая Пискаatora, особенно обстоятельно – О. А. Белоброва. Однако художественная сторона цикла, пусть и небольшая, осталась не отмеченной. К ней-то мы и обратимся<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Стихи Мардария Хонькова цит. по: [1].

Прежде всего отметим, что Хоньков ценил устную речь, обращенную к слушателям. На это указывает огромное количество его пояснительных упоминаний о произнесении таких речей вовне:

Господь Адама таящаша зовет  
и со гневом: «Где еси ты? – вопиет [1, с. 347, № 11];  
Невесту жених к обществу взывает  
и в виноград ю свой внити глашает [1, с. 368, № 149];  
И вси радостно его прославляют,  
да живет же царь, – купно возглашают [1, с. 373, № 180];  
В Ниневии люд пророк обличает  
и казнь от Бога на град возвещает [1, с. 384, № 233];  
Десяти дев Спас притчу предлагает,  
ю же слыша, всяк да разумеает [1, с. 403, № 332];  
Павел на мнозе слово простираше  
и благочестно люд жити учаше [1, с. 422, № 435]

и мн. др. Но эту черту можно объяснить следованием стихотворца гравюрам, на которых персонажи вопиют, беседуют, возвещают. Однако вот и различие. Мардарий Хоньков очень был склонен к игре слов (эту его черту мельком отметила Л. П. Осина в своей кандидатской диссертации 2007 г. «Языковые приемы и средства в истории отечественного каламбура»). На игре слов основано множество рифм у Хонькова. Примером логической игры слов служит рифмовка парами синонимов – сразу же, с первых строк первой же строфы.

Зрелище се есть книг божественных,  
ветхих и новых повестей священных.  
Медными дсками бысть изображенно,  
хитрыми зело творцы сотворенно,  
Иже прежде сих времен в мире быша  
и иже в сия времена пожиша» и пр. [1, с. 345, № 1].

Синонимичные пары: «божественных – священных», «изображенно – сотворенно», «быша – пожиша». Еще примеры:

Завидев, Каин брата убивает  
и свята мужа, зол сый, погубляет [1, с. 347, № 15];  
Горше рыдают сына убиенна  
отец и мати, зряще умерщвленна [1, с. № 16].

Синонимы рифмуются: «убивает – погубляет», «убиенна – умерщвлена». И так до бесконечности.

Иногда рифмуются и антонимы:

Сила бо найде на нь Духа святаго,  
иже не даде рещи слова злаго [1, с. 357, № 80];  
Не послушавша совета благаго,  
убоявшася же всем люда злаго [1, с. 375, № 198].

Изобретательность Мардария распространялась и на рифмовку понятий, так сказать, по их смежности:

Сташа же воды многи над горами,  
ковчег же бяше блюдом над водами [1, с. 348, № 20];  
Жених бо простре к ней руку в оконце  
и осия ю светом, яко солнце [1, с. 368, № 149];  
Сый на облацех зрится со серпами,  
их же отдает агелов руками [1, с. 431, № 467–21].

Наконец, рифмующиеся пары обозначали и некий сюжет:

Его же оный, зле яряся, биет  
осел же, яко человек, вопиет [1, с. 357, № 79];  
Христос же, востав, бури запрещает,  
всесильным словом море утишает [1, с. 396, № 296].

Мы привели примеры из множества подобных. Кроме того игра слов встречалась и внутри строк:

Авесалома *зла* зло постигает [1, с. 366, № 138];  
всяк же *злыи* и *зде* *зле* скончевается [1, с. 372, № 185];  
Церковь Господню *мерзский* *оскверняя* [1, с. 390, № 261].

Вполне возможно, что вся эта игра слов, придающая выразительность стихам, была подсказана латинским источником Мардария Хонькова, точно еще не установленным.

Но вот что интересно: игра слов у Хонькова была навеяна звучанием русской устной речи. Рифмовались слова с малозаметным чередованием лишь одного звука:

Сказавше еще юна брата в *дому*,  
 он же повеле приити и *тому* [1, 353, № 55];  
 К сим же седмое есть благо *дело*,  
 еже погребсти странна мертво *тело* [1, с. 413, № 388];  
 Смесив языки, сим казня злу *дерзость*,  
 высокое бо все есть пред Ним *мерзость* [1, с. 349, № 26];  
 Предтече брату Иаков *идущу*,  
 многи же мужы оружны *имущу* [1, с. 351, № 41].

И т. д. и т. п. Рифмовались слова и благодаря мелким прибавкам или усечениям:

Иаковля дщерь прекрасная *Дина*  
 сия зрети дев изыде *едина* [1, с. 361, № 42];  
 Царю Аарон предста и *Моисей*,  
 повергоша же жезл, и бысть в змия *сей* [1, с. 355, № 66];  
 Блажени, иже сердца суть *чистаго*,  
 сии бо Бога всех узрят *истаго* [1, с. 399, № 317].

Часто Мардарий рифмовал слова, отличающиеся только приставками, типа «приемлет – объемяет», «показа – указа», «земных – подземных» и пр. – тоже игра слов.

О том, что именно живое звучание стихов было нужным Мардарию, свидетельствует также череда обязательно разнообразных рифм в подавляющем большинстве его строф. Впрочем, тут повлияла и традиция составления стихотворных подписей под гравюрами.

И последнее. Большинство стихов Мардария описывают разворачивающиеся события в настоящем времени глаголов и, в сущности, являются краткими экспрессивными объявлениями или программками для зрителей гравюр (как в кукольном или лубочном театре?).

В этом всем мы и предполагаем наличие элементов театральности. Во всяком случае, например, в анонимных русских стихах к гравюрам в «Библии» Маттиаса Мериана такого оттенка театральности почти что не чувствуется [2, с. 450–479]. Однако нельзя считать Мардария Хонькова сознательно пошедшим на связь с театром; элементы театральности в его цикле проявились, скорее, невольно, отчасти по традиции углублять зрительское впечатление от гравюр: «Сия образы очесем являют, елицы на ня тща-тельно взирают» [1, с. 391, № 269].

Даже очень неполный обзор повествовательных циклов в памятниках XII–XVII вв. раскрывает глубокое многообразие древнерусской литературы, несмотря на ее внешнюю традиционность.

### 5. «Сказание о Молодце и Девнице»: три упрянца

Специально «Сказанию о Молодце и Девнице» посвящено лишь несколько работ, в том числе об этом любопытном памятнике писали Х. М. Лопарев, В. И. Сразневский и Л. А. Дмитриев. По мнению Л. А. Дмитриева, «“Сказание о молодце и девнице” было создано в середине – второй половине XVII в.»; а из двух старейших списков «Сказания» – РНБ, ОЛДП, № О.СXXXII, начала XVIII в. и БАН, 33.4.32, конца XVII в. – в списке ОЛДП «текст наиболее близок к первоначальному, авторскому» [1, с. 209, 206].

Поклонники этого «Сказания» ценили в основном его эротическое содержание. Мы же займемся темой менее броской – циклом в составе памятника, а именно – циклом речей Девницы (триуазные речи Молодца менее интересны и не образуют связного цикла)<sup>1</sup>.

В цикле речей Девницы повторяются и варьируются три типа мотивов. Первый мотив – противная внешность Молодца: урод («все дружи твои аки малоумна урода бегали» [2, с. 17]; «тощаное твое лице <...> уродь» [2, с. 18]; «упиревая рожа <...> лихая образина» [2, с. 19]). Молодец казался Девнице каким-то пугалом («рогозинная свита, гребенинныя порты, мочалной гасник <...> дубяное седло, берестяныя табенки, тростяная шапка» [2, с. 16–17]).

Второй мотив – Молодец как деревенщина («деревеньская щоголина» [2, с. 16]; «не ты ли вчера передо псы кисель мешаль, да и персты облизаль» [2, с. 18]; «свиной пастухъ <...> плель бы ты лапти» [2, с. 19]).

Третий, он же главный мотив – навязчивость упрямого Молодца («нечистой духъ <...> чортъ ли тебя нанесь <...> Отколя ся на меня напасть нашла?» [2, с. 19]; «лешей, бесь, дикой зверь» [2, с. 20]).

Цикл речей Девницы был порожден обоюдным упрямством персонажей (возможный намек на упрямство Девницы проскользнул в комплиментах Молодца в списке ОЛДП: «Умольвиши ветры в поле, удержиши ясна сокола на полете» [2, с. 17]. В «смягчающем» списке БАН этой фразы нет).

<sup>1</sup> «Сказание о Молодце и Девнице» по списку ОЛДП цит. по: [2].



«Ругательность» речей Девы имела прямое отношение к изображению упрямства персонажей. «Ругательность» настойчиво выражалась не только в обзываниях, но и в возмущенных вопросах («чево ты у насъ хочешь?» [2, с. 16]), обвинениях в глупости («глупыхъ не орють, не сеють; сами ся родять отъ глупыхъ отцовъ, отъ безумныхъ матери» [2, с. 19]); в отсыланиях куда подальше («лучче бы ты себе искалъ ласкова господина» [2, с. 18]; «за тынь ли тебя бросить» [2, с. 19]). В «Сказании» тема противостояния полов была доведена до прямой стычки. Оттого упоминались воинская служба Молодца («служилъ царю в Орде, королю в Литве» [2, с. 15] и его якобы воинская оснащенность перед Девой (сапоги, седло, тебенки, конь, «булатное копье», «каленая стрела» с «тугимъ лукомъ» [2, с. 16–17, 19, 21]).

Но вот что неожиданно. Давно вызывала недоумение исследователей внезапная перемена в настроении Девы: на протяжении всего произведения Дева унижала и поносила Молодца, и вдруг она пожалела его. В чем дело? Думается, перемена подготавливалась подспудно. Дева хоть и ругала, но отмечала одиночество Молодца («Жиль еси ты не въ любви» [2, с. 17]; «подутолной сверчекъ <...> безъгосподарной человекъ» [2, с. 18]; «жилъ бы ты, какъ <...> мышъ подъ кровлею, какъ червь подъ корою, какъ жукъ в говьне» [2, с. 19]; «по улицамъ не рыщи, собака не дразни» [2, с. 20]). Оттого и пожалела («нищеву накорми <...> и ты живи у насъ» [2, с. 20]).

Было, возможно, еще одно обстоятельство для смягчения. Дева все время смотрит на пристающего Молодца и, как можно предположить, привыкает к нему – видит «юноше еси видение» [2, с. 19]; присматривается и видит, какие у него волосы, какие ноги, какая спина, какие брови, какие глаза, какая голова, какие зубы, какой рот, хотя и поругивает все это, – судя по эпитетам, перед Девой стоит хоть и не красавец, но здоровенный юноша («дубнастыя твои голени» [2, с. 18]), который ее «шутя валить на краватку» [2, с. 21]. Да и Дева в соку: у нее «прямое товолжаное ратовище» [2, с. 16] при «крутыхъ бедрахъ» [2, с. 19] и «борза команя губы» [2, с. 17]. Дева признается: «мне безъ паренька не быть» [2, с. 20]. Правда, о подобном привыкании и тяготении сам автор не оговорился ни словом.

Но вот в списке БАН<sup>1</sup> был явно усилен мотив одиночества, за которое надо пожалеть и полюбить Молодца («у отца еси был не в

<sup>1</sup> «Сказание о Молодце и Деве» по списку БАН цит. по: [3].

жаловани, у матери не в любви»; «никто тебя не приметъ» [3, с. 85]; «хоть удавись, хоть утопись, никто по тебе не потужит, ни плачет <...> Рече к нему красная Девица с кручиною: “<...>Кому надобен опричь меня?” <...> а без милово не жить”» [3, с. 86]; «жалъ мне дворянина, сына отцовского» [3, с. 87]; «смотрячи на твою неизреченную красоту и зря на лице твое» [3, с. 88]. Упомянута и причина, по которой Девица сдается Молодцу, так что наша догадка о роли «смотрения» небезосновательна. Резюме: Девица «пребилася, аки серая утица предъ яснымъ соколомъ» [2, с. 21].

Тут проглядывает характерная для литературы XVII в. смена социально-психологического статуса лиц, когда упрямая дева по добрела, покорная дева стала разборчивой, знатный и богатый человек оказался просителем, грешник – уважаемым и т. д.

До сих пор речь шла о двух упрямец-участниках диалога в «Сказании о Молодце и Девице». Но где же третий упрямец? Третий упрямец (но по-другому) – это сам автор (или редактор) «Сказания». Рассмотрим, например, художественную структуру перечисления в одном из ответов Девицы Молодцу. Перечень лишен единства и содержит несколько «ассоциативных полей». Первое «поле» составляют следующие друг за другом ассоциации предметов по смежности, а их качеств по форме и величине: «сычевые глаза, межвежья голова, щучьи зубы, севрюжеи нось, вольчей ротъ» [2, с. 19] – круглые глаза, большая башка, мелкие зубы, изогнутый кверху нос, огромная пасть. Внутри этого «поля» вставлена еще и цепочка «рыбных» ассоциаций (щучьи <...> севрюжеи). Второе «поле» – малое, ассоциации по «вони»: «вонючая твоя душа, нечистой духъ». Третья ассоциативная цепочка – по «членовредительству»: «огнемъ ли тебя палить, носа ли тебе скусить, голова ли тебе отсечь». Четвертая минимальная цепочка – убийство, удушение: «хотя утопись, хотя удавись». Наконец, пятое «ассоциативное поле» связано с представлением то ли об укрытии, то ли о защитной плоскости: «жилъ бы ты, какъ жолна в дупле, какъ мышъ подъ кровлею, какъ червь подъ корою, какъ жукъ в говьне». Но самой переключки между этими явными и скрытыми «ассоциативными полями» нет. Напротив, их разделяют какие-то «случайные» бессвязные слова («немилои възглядъ, строевъ сынъ <...> жаба, мышъ» и пр.).

Судя по структуре этой девичьей филиппики, автор писал «как Бог на душу положит», он свободно смешивал смыслы, то продолжая, то обрывая, то раздробляя мотивы. Тем же отличаются и остальные речи Девицы. В такой свободе составления

характеристик мы видим стихийное, но упорное разрушение старой традиции – а именно манеры цельных описаний внешности и поведения людей в древнерусской литературе. Вот почему третьим упрямым в «Сказании» можно подозревать бесшабашного автора (вернее, редактора) произведения. Начало XVIII в. – обрушение традиций.

### 6. «Рафли»: беспокойство

Древнерусская гадательная книга «Рафли» основательно изучена с точки зрения текстологической, источниковедческой и истории гаданий (см. работы М. Н. Сперанского, А. А. Турилова и А. В. Чернецова). Мы же попытаемся охарактеризовать «Рафли» как цельное произведение с точки зрения литературной.

Рассмотрим список XVII–XVIII вв. книги «Рафли», опубликованный А. Н. Пыпиным (РГБ, Муз., № 1411)<sup>1</sup>. Это несомненный цикл единообразно составленных кратких повествовательных напоминаний и предсказаний «человеку», которые вкуче при чтении всей книги связываются в отнюдь не безграничный комплекс возможных ситуаций в мире библейском, в мире природы и в мире бытовом. Составитель списка, судя по постоянным повторам мотивов, наверняка держал в голове некую типичную картину жизни человека.

Главным был предметный мотив пути. Идут или едут Господь, апостолы Петр и Андрей, жены-мироносицы, Моисей, Феодор Тирон, какой-то «страшень мужь», некая «жена» со своим ребенком, и еще какой-то мимоходящий человек. Соответственно людям, которым гадают, «Рафли» советовали: «въ путь поиди», «поди помешкавь, вскоре не ходи» [2, с. 161], «а въ дорогу – путь чисть», «въ пути много нужды примешь» [2, с. 162], «въ пути смерть будеть» [2, с. 163], «пира дойдешь» [2, с. 164], «путь твой готовь, и врата отверсты» [2, с. 166] и т. д. Человек представлялся составителю списка беспокойным и непоседливым («непостоянныя мысли въ тебе плавають, аки волны морския» [2, с. 166].

Внешний мир также представлялся составителю неустойчивым. С одной стороны, в нем преобладали опасности и насилие («Взяль ястребь воробья, воробей дерется у ястреба изъ ноктей, не выдерется» [2, с. 162]; «бысть на море корабль, въ корабле плавающе многия люди <...> И воста буря зелная и волны великия,

<sup>1</sup> «Рафли» цит. по: [2].

и нанесе корабль на камень, и разби его, и потопи многия люди» [2, с. 163]. Человеку также грозили несчастья («Отъ света во тму ступаеши» [2, с. 161]; «бойся отъ недруга, под рукою стоять» [2, с. 162]; «плыть хочещь противъ воды» [2, с. 164]; «есть на тебя злая супостаты и зрятъ на тебя всею веждею, аки волки на овцы, и хотятъ тебя съестъ напрасно» [2, с. 166].

Но, с другой стороны, этот внешний мир представлялся вольным и радостным («Летели две птицы чрезъ Тивирианское море, и сели те птицы сверхъ сырова дуба, и свили себе гнездо, и вывели дети своя, и возрадовались»; «бегаеть заяць травою, и впадаетъ в тенета, и выдеретца заяць изъ тенеть, и побежалъ въ далнею пустыню, и возрадовася заяць воле своей» [2, с. 164]; «заяць убегаетъ, а ловець утопе» [2, с. 165]; «предъ лицемъ моря возсияеть светъ, и будетъ день светель, и возрадуются людие» [2, с. 161].

Человека что-то гнало из дому, он не пребывал в «домашнемъ житии». Да и в дому было не все ладно («въ доме твоємъ все бесъ смущаетъ, помежь васъ любви нетъ, тотъ домъ огнемъ горить» [2, с. 161]; «въ дому твоємъ нездорово» [2, с. 164]).

Главным двигателем поездок и перемен мыслилось стремление человека к материальному благосостоянию, к «корысти» («аще о пути – несть корысти», «аще хочещи долгъ взяти, и ты возмещь, толко хлопотно» [2, с. 162]; «въ дому твоємъ будетъ полно», «въ дому твоємъ корысть и радость» [2, с. 163]; «дело твое будетъ по твоему» [2, с. 164]). Это закон природы («Яко ластовица летаеть отъ востоку и до западу и добываетъ себе корму, то тебе съ радостию поведаетъ, то тебе, человеце, добро въ деле твоємъ будетъ» [2, с. 165]). Но и благополучие было нестойким (то «поля твоя насытятъ и домъ твой разбогатееть <...> удоля умножать пшеницею» [2, с. 165]; то «великую пагубу являетъ: ни на земли, ни траве-листу обильно ничего отъ родовъ не будетъ», «въ доме твоємъ скудно будетъ велми» [2, с. 162]).

В Музейном списке книги «Рафли», по-видимому, дробно и подспудно отразилась беспокойная предметно-бытовая философия жизни второй половины XVII – начала XVIII вв. Это подтверждает переключка некоторых мотивов по ходу книги «Рафли» с «Повестью о Горе-Злочасти»<sup>1</sup>. С самого начала в книге «Рафли» человек все время в пути, как Молодец в «Повести», пока не «спамятуеть Молодецъ спасенный путь» [1, с. 38].

<sup>1</sup> «Повесть о Горе-Злочасти» цит. по: [1]. В текст [1] нами внесены исправления по факсимиле рукописи: [3].

При этом человек то скорбен, то радостен («ты <...> добре скорбиши» [2, с. 161]; «на тебя найдеть кручина», «скорбию исполнить Богъ прошение твое» [2, с. 162]; «есть у тебя кручина, и та кручина съ тебя сойдетъ» [2, с. 163]; «и впредь на тебя найдеть кручина, радостию совершитца» [2, с. 162]; «поди въ путь с радостию» [2, с. 166]). И Молодец то скорбит, то радуется («Молодец закручинился» [1, с. 31]; «кручиноват, скорбень, нерадостень» [1, с. 32]; «идеть весель, некручиновать» [1, с. 36]).

Чего ищет? Человек желает «чести» («честень будеси» [2, с. 161]; «честень будеси во всехъ людехъ» [2, с. 164]. Того же хочет Молодец («честь его, яко реки текла» [1, с. 30]; «то тебе будетъ честь и хвала великая <...> люди <...> учнуть тя чтить» [1, с. 33]).

Но не все ладно. К человеку пристал недруг («недругъ стoitъ подь рукою, наровится на тебя» [2, с. 162]). То же самое – к Молодцу («Молодецъ пошелъ пешь дорогою, а Горе под руку под правую» [1, с. 38]).

Человека обманывают («советъ твой добываетъ тебя речми лстивыми», «не послушай того совету» [2, с. 162]; «аще ли съ кемъ не дружился, то ты и не вчинай, чтобъ онъ тебя не обманулъ» [2, с. 165]). Молодец подвержен той же слабости («мил надежень другъ прелстил его речми прелесными» [1, с. 30]).

Что же делать? Совет человеку – любить людей («ты, человек, имеешь любовь всему человеку» [2, с. 163–164]) – был дан и Молодцу («зла не думай <...> на всякого человека <...> а имей всех равно по единому» [1, с. 30]).

В обоих произведениях предусмотрено посещение пира как социальный статус (человек: «пира дойдешь и честь получишь себе» [2, с. 164]. Молодец: «Пришелъ Молодецъ на честен пир <...> садять его в место среднее <...> по отчине» [1, с. 32]).

Упоминается и желание жениться (человек: «аще хочещи женитца, и та тебе мысль збудетца» [2, с. 164]). Молодец: «присмотрил невесту себе по обычаю, захотелоя Молотцу женитися» [1, с. 33]).

И в заключение книги «Рафли»: «хочещи нажити имения и знатися съ добрыми людми» [2, с. 166]. И эти мотивы присутствуют в «Повести о Горе-Злочастии»: «знаися, чадо, с мудрыми и с разумными водися» [1, с. 30]; «видять Молотца люди добрые» [1, с. 32]; «наживал онъ живота болшы старова» [1, с. 33].

В еще более подробном виде отразились подобные озабоченные представления о принципах жизни в сборнике пословиц конца

XVII в.<sup>1</sup> Мотив свободного пути: «Алтын сам ворота отпираеть и путь очищаетъ» [4, с. 75]; «волному воля, ходячему путь» [4, с. 85]; «в поле воля» [4, с. 89]; «цветь в поле, человекъ въ воле» [4, с. 153]. Мотив нестойкости благополучия: «Быль со всемъ, да сталь ни с чемъ» [4, с. 83]; «всякое время переходчиво» [4, с. 84]; «веселие не вечно, и печальное конечно» [4, с. 86]; «не лугъ книги, что времена уж лихи» [4, с. 125]; «умъ не постояненъ, человекъ окояненъ» [4, с. 146]. Мотив домашних забот: «Домомъ жить – потужить» [4, с. 95]; «мужь – дому строитель, нищете отгонитель» [4, 119]; «красно поле – со пшеницею» [4, с. 11]. Мотив общения с людьми: «Будь приветливъ, а не буд изветливъ» [4, с. 84]; «не дорого ништо, дорого вежество» [4, с. 126]. И пр.

Что ни цикл, то обнаруживается разнообразие его форм и причин его появления. Но почему различные причины все-таки приводили к циклообразованию? Можно предположить, что тут был важен сходный тип причин. Видимо, постоянно и многократно действовавшие на душу писателей условия жизни в каждую эпоху и способствовали в произведениях внутреннему циклообразованию.

---

<sup>1</sup> «Повести или пословицы всенароднейшыя по алфавиту» цит. по: [4].

### Глава 3

## Взаимодействие жанров в древнерусских литературных памятниках XII–XVII вв.

Взаимодействие разных жанровых форм в древнерусской литературе как явление поэтики почти не изучено. А между тем это временами еще один эстетически значимый смысловой пласт в произведениях Древней Руси. В данной статье в виде опыта мы исследуем лишь несколько памятников – каждый с явственно связанными в тексте друг с другом разными типами изложения то внутри произведения, то между произведениями. В результате что-то добавляется к характеристике древнерусских авторов.

### 1. «Повесть временных лет»: недовольство читателями

Типы изложения в «Повести временных лет» полно и точно классифицированы и объяснены И. П. Ереминым, Д. С. Лихачевым, О. В. Твороговым. Что дальше? Мы же проведем наблюдения за сочетанием некоторых из этих форм изложения в летописи.

Главными формами изложения в «Повести временных лет» являются: обширное историческое повествование и без предупреждений вставленные в него поучения, похвалы и библейские экскурсы – ясно, для чего: чтобы разъяснить читателям значение событий.

Рассмотрим, как граничат друг с другом эти формы повествования, а именно отметим резкость поучительных вставок в рассказы о событиях. Резкость поучительных вставок видна по их начальным фразам, чаще всего со вступительным словом «се» и его производными («се же бысть, яко же при Соломоне»<sup>1</sup> [11, стб. 62, под 955 г.]; «се же беаше <...> видъ ангелескъ» [11, стб. 284, под 1110 г.]; «се есть новый Костянтинъ великого Рима» [11, стб. 130, под 1015 г.]; «се же Богъ показа» [11, стб. 130, под 1019 г.]; «сиця ти есть бесовьская сила» [11, стб. 188, под 1017 г.]; и мн. др.). Нередки также вступительные слова «темъ же», «такъ», «бе бо», «сице глаголя» и пр.

Отграничения таких вставных, нередко пространных поучений, похвал и экскурсов от последующего собственно летописного изложения еще более резки, они обрываются обозначением

<sup>1</sup> «Повесть временных лет» цит. по: [11].

следующего года или иной новостью того же года («В се же лето»), либо возвращением к предыдущему историческому повествованию («Мы же на предълежащее възвратимся»; «Володимеръ же»; «Всеволодъ же»; и т. д.).

Манера резкой компоновки текстов из исторического повествования и из оценок событий самим автором, кажется, являлась индивидуальной чертой именно Нестора и проявилась в составленных им произведениях: не только в «Повести временных лет», но также в «Житии Феодосия Печерского», в «Чтении о Борисе и Глебе» и в двух или трех «словах» в начале «Киево-Печерского патерика» («слова» третье, шестое и девятое – об основании Печерской церкви, о прозвании Печерского монастыря, о пренесении мощей Феодосия Печерского). Похвалы или поучения в роли вспомогательно-пояснительной формы изложения в этих произведениях были невелики и начинались внезапно со слов «кто» или «что» («Житие»: «Къто исповеть милосърдие Божие? Се бо <...> [8, с. 306]; «Кто бо не почюдиться блаженууму сему?» [8, с. 334]; «Чтение»: «И кто не подивится святыма сима?» [1, с. 25]; «Патерик»: «Что сего, братие, чуднее?» [9, с. 422]; или же начинались со слов «тем же» и «тако» («Житие»: «Тем же и мы, братие, потъщимся» [8, с. 308]; «Тако ти тьщание бе» [8, с. 70]; «Патерик»: «Тем же и мы рцемъ» [9, с. 432]; «Тем же лепо есть» [9, с. 440]); или – «Вижте» («Чтение»: «Видите ли, братие» [1, с. 9, 25]; «Патерик»: «Вижте ми досточюдного сего мужа» [9, с. 448]).

Резкость поучительных и пояснительных вставок нужна была для того, чтобы читатели сразу различали и понимали их роль.

Теперь обратим внимание все-таки на связность вставок с историческим повествованием. Разные формы изложения летописец нередко связывал в целое смысловыми и фразеологическими лейтмотивами. Например, историческое повествование о княгине Ольге летописец завершил резким переходом к ее похвале («Си бысть предътекуция крестьяньстеи земли» [11, стб. 68, под 969 г.]). Однако в похвале летописец развил те мотивы, которые уже присутствовали в историческом повествовании. Так, похвала образно подчеркнула одиночество Ольги-христианки в языческой Руси: «си бысть <...> аки деньица предъ солнцемъ и аки зоря предъ светомъ, си бо съяше, аки луна в нощи, тако и си в неверныхъ чловецехъ светящеса, аки бисерь в кале» [11, стб. 68]. В предшествующем историческом повествовании уже говорилось об одиночестве Ольги; Ольга жаловалась: «люди мои пагани и сынъ мои» [11, стб. 61, под 955 г.],



единственный сын ее Святослав «се же к тому гневашеся на мать» [11, стб. 64, под 955 г.], ему было «не жаль матери стары суца», он хотел покинуть Ольгу «болну суццю» [11, стб. 67, под 968 и 969 гг.].

Далее в похвале Ольге провозглашалось: «сию бо хвалят рустье сынове <...> се бо вси человеци прославляют <...> на многа лета» [11, стб. 68]. Но до этого в историческом повествовании то же ей обещал византийский патриарх: «благословена ты в женах русских <...> благословити тя хотять сынове рустии в последний родъ внуку твоих» [11, стб. 61, под 955 г.].

В похвале Ольге отмечалось: она «въ новии Адамъ облечеса, еже есть Христось» [11, стб. 68]; раньше в историческом повествовании патриарх соответственно укреплял Ольгу: «во Христа облечеса» [11, стб. 61]. Похвала призывала Ольгу: «радуися руское познанье къ Богу» [11, стб. 68]. И этот мотив уже тоже прозвучал в историческом повествовании: «радовашеся душею и теломъ» [11, стб. 61]; «Бога познахъ и радуюся» [11, стб. 63, под 955 г.].

Еще. Похвала: Ольга «по смерти моляше Бога за Русь» [11, стб. 68]. Ср. до того под 955 г.: «моляшеся за сына и за люди» [11, стб. 64].

Заканчивалась похвала выводом: Господь «защитиль бо есть сию блажену Вольгу от противника и супостата дьявола» [11, стб. 69]. Ранее, в рассказе о крещении под 955 г., Ольга уже просила: «да сохранена буду от сети неприязнены», и патриарх ее заверил: «Христось имать сохранить ты <...> и тя избавить от неприязни и от сети его» [11, стб. 61–62]. «Блаженной» Ольга неоднократно была названа и до похвалы.

Разные и отделенные друг от друга повествовательные формы о княгине Ольге летописец связал повторением мотивов и фраз.

Те же мотивы летописец многократно повторял до самого конца «Повести временных лет», как в историческом повествовании о других лицах, так и в примыкающих о них похвалах. Чаще всего упоминались радость по поводу принятия христианства и защищенность от дьявола, а также призывы хвалить Бога, блаженных и подвижников. Д. С. Лихачев уже отметил фразеологическое сходство между похвалами Ольги и Владимиру под 969 и 1015 гг. [10, с. 445]. Но букет тех же мотивов летописец повторил в комплексе рассказов и похвал Борису и Глебу под 1015 г. и Феодосию Печерскому под 1091 г.

Повторы не минули и библейских экскурсов. Например, под 1073 г. сообщалось о захватнических расправах князей вопреки от-

цовскому завещанию («преступивше заповедь отню <...> еступивъ заповедь отню» [11, стб. 182, 183]), и те же выражения летописец с еще бóльшим старанием повторил, перейдя к краткому поучительному экскурсу («преступающе заповедь отца своего <...> преступиша <...> преступи <...> заповедь отца своего <...> преступати предела чужего» [11, стб. 183]).

По форме наиболее были распространены фразеологические связи, когда ключевое понятие исторического повествования многократно повторялось в примыкавшем поучении. Так, под 988 г. однажды упомянутое понятие «новыя люди» (118) многообразно повторяла похвала: «обновленьем духа <...> новыя люди <...> песнь нову <...> въ об-новленьи житья <...> се быша новая <...> новыи людье» [11, стб. 119–121]. Под 1074 г. еще многочисленней и чаще следовали повторы понятия «пост», «поститися», «постное время» [11, стб. 183–186].

Иногда летописец в историческом повествовании и сопутствующем поучении повторял комплексы понятий и выражений. Вот, например, под 1078 г. повторялось главное: «азъ сложу главу свою за тя <...> погыбе <...> за брата своего, положи главу свою <...> положю главу свою за тя <...> положи главу свою за брата своего <...> положить душу свою за други своя <...> проля кровь за брата своего» [11, стб. 201–204]. Но кроме стержневого повтора звучали и дополнения: «выгнаша <...> блудиль <...> бех по чюжимъ землямъ» [11, стб. 200] – «выгнаша <...> по чюжеи земли блудя» [11, стб. 203]; «не створих зла» [11, стб. 200] – «не вдасть зла» [11, стб. 202]; «утеши» [11, стб. 201] – «утеши» [11, стб. 202], «утешайте» [11, стб. 203]. И др.

О чем свидетельствовали такие повторы? Предполагаем, что пространность поучений, резкость поясняющих вставок и особенно повторы отражали мнение летописца о возможных читателях летописи. Правда, неясно, на кого ориентировался летописец. Прямых или косвенных обращений к читателям в летописи нет, кроме неопределенно широкого упоминания «нас». Скорее всего, летописец в первую очередь имел в виду князей и киево-печерских монахов, раз писал преимущественно о них.

Повторы, возможно, были обусловлены интеллектуальным уровнем примерно этого круга читателей, нуждавшихся во внушении и пребывавших в невежественном людском окружении. Поэтому летописец с досадой поминал многочисленных невежд («бяху бо людие <...> невегласи» [11, стб. 32, под 907 г.]; волхвов «невегласи послушаху» [11, стб. 174, под 1071 г.]; «друзии же

закыханью веруютъ» [11, стб. 170, под 1068 г.]; «ини же не сведуще рекоша, яко <...>» [11, стб. 9]; и пр.). А знающих персонажей, читающих книги и как-то помнящих историю, набиралось у летописца совсем мало: княгиня Ольга («аки губа напяема, внимающи ученья» [11, стб. 61, под 955 г.]); князь Владимир Святославович, которому было «чюдно слушати» речь философа о библейской истории [11, стб. 106, под 987 г.]; князь Ярослав Владимирович («книгамъ прилежа и почитая е часто» и ценивший «отець своихъ и дедъ своихъ» [11, стб. 151 и 161, под 1037 и 1054 гг.]); и еще князь Владимир Всеволодович Мономах, который знал, что именно «бывало есть в Русьскеи земли <...> при дедех наших <...> при отцихъ наших» [11, стб. 262, под 1097 г.]. Знания прочих князей не удостоились упоминаний.

Из менее знатных был выделен монах Еремия, «иже помняше крещенье земле Русьскыя» [11, стб. 189, под 1074 г.] и еще, возможно, «Янь, старецъ добрыи», от которого летописец «многа словеса» вписал «в летописаньи семь» [11, стб. 281, под 1106 г.].

Из митрополитов отмечены лишь два: один «мужъ благъ и книжень» [11, стб. 156, под 1051 г.], другой «хытръ книгамъ и ученью <...> сякого не бысть преже в Руси, ни по немъ не будетъ сякъ» [11, стб. 208, под 1089 г.]. Зато его преемник «бе же се мужъ не книжень, и умомъ прость, и просторекъ».

Для подтверждения предположения о нерадивости читателей и слушателей начала XII в. отсылаем к известным замечаниям о читателях в «Изборнике» 1076 г., в «Поучении» Владимира Мономаха и особенно в предисловиях к произведениям и сборникам того времени [3, с. 120–126].

Что же касается повторов в агиографических произведениях Нестора, то в них, в отличие от летописи, преобладали похвалы, разъяснительных вставок было гораздо меньше, а намеки на недостаточный интеллектуальный уровень читателей и их окружения отсутствовали (лишь только два раза Нестор призвал «братию» ко внимательности: «Нъ послушайте, братие, съ вьсяцемъ прилежаниемъ» – «Житие» [8, с. 306]; «И еще, възлюблени, предложу слово на утвержение ваше» – «Патерик» [9, с. 422]). Вероятно, агиография предназначалась Нестором в первую очередь для милых его сердцу монашествующих.

Показательно также, что в конце третьей редакции «Повести временных лет» (под 1110–1111 и 1113–1114 гг.) к историческому изложению добавлялись только исторические же экскурсы и нигде – похвалы или поучения. Читатели летописи, вероятно, на-

чали теперь нуждаться больше в исторических подробностях, чем в общих поучениях.

Затем, в летописях XII–XIII вв. такие вставки постепенно исчезли: во «Владими́ро-Суздальской летописи» похвалы были заимствованы из «Повести временных лет», а повествование «Новгородской первой летописи» (кроме двух поучений под 1239 и 1269 гг., с отзвуками «Повести временных лет») и в «Галицко-Волынской летописи» (кроме начальной похвалы-предисловия) уже было целиком историческим, без более или менее развитых похвал и поучений.

Влияние уровня древнерусских читателей на поэтику произведений – тема, еще не исследованная с нужной глубиной.

## 2. «Новгородская первая летопись»: суровость

Для повествования «Новгородской первой летописи» о событиях XIII–XIV вв. (с 1230 г. по 1399 г.) характерно частое сочетание более или менее кратких фактографических сообщений о военных поражениях, природных катаклизмах, пожарах, моровых болезнях, мятежах и кратких же поучений, нередко одной фразой, по поводу случившегося.

Все эти поучающие обращения летописца к современникам традиционны и, как в «Повести временных лет», содержат ссылки на «грехи наши», «Божий гнев» и «казнь», призывы к «покаянию», «плачу» и пр. Но таких поучений в «Новгородской первой летописи» гораздо больше, и – главное – они преимущественно кратки; это жесткие формулировки сравнительно с пылкими расуждениями «Повести временных лет».

Жесткость поучающих высказываний новгородского летописца выражалась в «долбящих» повторах (например, под 1238 г.: «послю на <...> вась недоумение, и грозу, и страхъ, и трепеть <...> А недоумение, и грозу, и страхъ, и трепеть вложи в нас» [6, с. 75]; или под 1374 г.: «Что есть сего зле <...> зло многажды сотворяется <...> наводит на насъ злейшия <...> и не ту злу конецъ» [6, с. 371]). Жесткость своим поучениям летописец придавал и язвительными пословицами и афоризмами («копая подь другомъ яму, сам ся в ню въвадитъ» [6, с. 82, под 1257 г.]; «поженеть единъ 100 вась, а отъ ста побегнет 1000 вась» [6, с. 87, под 1269 г.]; «еже бо сееть человекъ, то же и пожнеть» [6, с. 97, под 1325 г.]; и пр.). Но особую жесткость вносили прямые обвинения летописца современникам («не разумехомъ своя погыбели <...> наша безакония,

и братоненавидение, и непокорение друг къ другу, и зависть, и крестомъ верящися въ лжю <...> скверньны усты целуемъ» [6, с. 69, под 1230 г.]; «пекущися о имении и о ненависти братаги» [6, с. 75, под 1238 г.]; «аки пси, обращаемъ на своя блевотины» [6, с. 83, под 1259 г.]; и т. д. и т. п.).

Объяснить жесткую краткость поучений новгородского летописца можно его суровостью и соответственно суровостью новгородских жизненных обстоятельств. Об общественных настроениях XIII–XIV вв. летописец писал скупно и редко, и в подавляющем большинстве это были упоминания о тяжелых переживаниях: «горе уставися велико» [6, с. 69, под 1230 г.]; «туга и печаль <...> скърбь <...> тьска <...> горе» [6, с. 71, под 1231 г.]; «плачь и сетование» [6, с. 72, под 1233 г.]; «смятошася люди» [6, с. 82, под 1257 г.]; «плакяся <...> весь народ плачемъ великимъ» [6, с. 97, под 1316 г.]; «яко мнети, уже кончина» [6, с. 351, под 1340 г.]; и др.

Из-за суровости обстоятельств не только поучения, но и описания событий тоже были лаконичны и жестки у новгородского летописца (ср. оценки стиля новгородского летописца Д. С. Лихачевым, отметившим «тревожную атмосферу новгородской жизни», породившую в летописном изложении «скорее реестр событий, чем связный рассказ» и авторское «умение сжато и энергично выразить политическую программу в <...> формуле» [4, с. 117, 115, 121]). Вот за счет чего возникла цельность сочетания фактографических сообщений и нравоучительных обращений в «Новгородской первой летописи».

### ***3. Произведения Родиона Кожуха: склонность к изобразительности***

В «Софийской второй летописи» под 1460 г. сочетаются два разножанровых произведения, сочиненные московским митрополитом дьяком Родионом Кожухом: первое – «того же Родиона Кожуха» «Сказание чудеси великаго чудотворца Варлама, новейшее чудо о умершемъ отроце, еже сдеяся» 30 января 1460 г.; второе – «Творение Родиона Кожуха, диака митрополита» о буре над Москвой 14 июня 1460 г. Здесь интересна не связь фактографии и поучения каждого произведения, а иная общность обоих произведений: агиографический и летописный рассказы, несмотря на жанровую разницу, связаны несомненной сходной изобразительностью и в «Сказании», и в «Творении».

Сначала обратимся к рассказу о буре. Он наполнен повторами предметных мотивов. Так, воздух сам по себе представляется тиходвигающимся или тиходвигающим («воздухи носимо <...> по аеру воздуха парящего» [12, с. 182]); но тут появляется плывущая и разбухающая туча («взыде подь небесы туча на облацехъ <...> и тако поиде <...> совокупляяся облакы и тако распространися надо многими месты» [12, с. 182]). Начинается гроза (облака, превратившиеся в тучу, «исполнены водоточнаго естества <...> и пролияше дождь великъ» [12, с. 182]; «молониямъ тогда блистание велие бяше и громъ тутняше <...> огонь въ тучи той <...> яко пламень, распыхаяся» [12, с. 183]). Подымается вихрь («возвешае <...> вихоръ <...> покровение <...> снесе; <...> кровы разлома; <...> верхи <...> сбиваше <...> яко прахъ, поверже; <...> храмы до основания земли разоришася; <...> храмы <...> разнесе; <...> дома, восхищя, разметаше; <...> здания <...> разшибаше» и т. д. [12, с. 182–183]). И вихрь этот очень широк («на градъ Москву, на многие села и места далече отъ града <...> древесъ неизглаголанное множество на лицы поля падошася по многимъ местомъ окрестъ града, исторзаемы и преломляемы» и пр. [12, с. 182–183]). Предметные повторы внесли изобразительную отчетливость в рассказ Кожуха про «велие знамение во граде Москве» [12, с. 182].

Изобразительная резкость, создаваемая повторами, явно необычна для традиционных летописных заметок о странных или страшных природных явлениях и объяснима, по-видимому, индивидуальной чертой Родиона как писателя. Ведь Родион Кожух основывается на показаниях очевидцев: «всемъ зрети» [12, с. 182]; «мнози убо свидетельствовашу» [12, с. 183]; «братиа, видевши такоя <...> мы же, видевши сиа» [12, с. 184]. Но нигде Кожух не оговаривается, что он тоже был очевидцем и где находился во время бури. Вероятнее всего, Родион Кожух собрал воедино и наблюдения собственные, и сообщения очевидцев.

И действительно, Родион Кожух в дополнение к повторам усиливал изобразительность изложения библейскими цитатами: дождевая туча превращалась в необъятные меха с водой («сбирая, яко мехъ, воды морския и полагая во скровищихъ бездны» [12, с. 182]); вихрь превращался в губительное землетрясение («страше землю и смяте ю» [12, с. 183]); молния становилась карающим мечом («поострю мечь мой, яко молнию <...> убию» [12, с. 183]).

Кроме того, изображение бури Кожух сделал особенно резким благодаря внезапному следствию; от «скороминувшаго оного вихра <...> ничемъ же не вреди никого же отъ всехъ человекъ

народа <...> Господь <...> въ мале часе переведе черезъ градъ великую тучю, и того нужне волнуемаго на ны вихра укроти, и тишину воздуха всячески намъ дарова» [12, с. 183].

О том, что склонность к резкой изобразительности была свойственна Родиону Кожуху, свидетельствует и другое его произведение в составе летописи – уже упомянутое «Сказание» о чуде **Варлаама Хутынского**, который оживил умершего отрока Григория Тумьгеня. Укажем только повторы некоторых мотивов из многих. Отрока на одре мучают судороги («многожды восхвываясь, нападеше на древо <...> нападеше на нь, ово хребтомъ своимъ напрягашеся, ово же грудию своею нападь, корчашеся <...> яко вся составы кости себе изломиша си велми» [12, с. 321]). Отрок изнемог («немощень еси <...> изнемогаю <...> изнемогъ <...> бяше бо трудень добре и изнемогъ» [12, с. 321]) и умер («испусти духъ <...> отъиде <...> умре <...> мертва повезоша» и пр. [12, с. 321]). Но вдруг ожил («абие возвратися духъ во отрока и бысть живъ <...> абие оживе <...> яко душа его въ немъ есть <...> душа изыде изъ тела и паки вниде, <...> душа отъ тела <...> изыде <...> возвратися» [12, с. 322–323]). Однако говорить отрок еще не мог («ничто же не могий проглаголати <...> онъ же, яко безгласень, ничто же моги провецати <...> провецати не могий <...> языкомъ своимъ провецати не могий» и т. д. [12, с. 322]).

Отчетливость изображения Кожух опять-таки усилил противопоставлением: у умершего отрока «уже и руже его оклячели <...> и въ составехъ уже не сгибашеся», но неожиданно через «долгъ часъ» «почютивъ же себе отрокъ и възбнувъ, яко отъ сна, и абие въскричалъ мертвый гласомъ велиемъ» [12, с. 322].

На склонность Кожуха к изобразительности повествования указывает также приведенное им любопытное признание отрока: «видехъ святаго Варлаама преподобнаго чудотворца во одежи своей, посохъ же бе въ руже его, яко же на иконе зряхъ написана его» [12, с. 323].

Разные жанровые формы повествования оказались взаимосвязаны под воздействием личной писательской наклонности Родиона Кожуха.

И последнее замечание. Почему в заголовке «Сказания» о чуде, а оно переписано в летописи первым, перед «Творением» о буре, ссылка кажется нелогичной: «Того же Родиона Кожуха»? А где же тогда предыдущее сочинение Кожуха? Объяснение может быть двояким. Родион Кожух написал о буре раньше, чем о чуде, а составитель «Софийской второй летописи» расположил эти

произведения по хронологии событий. Или же этим двум произведениям действительно предшествует какой-то текст Кожуха, и он вроде бы есть: под 1459 г. читается маленький отрывок, который эмоциональными повторами стилистически отличается от обычного летописного изложения: «Зде страхъ, зде беда велика, зде скорбь не мала! <...> чаемъ всемирное пришествие Христово <...> пощади, Владыко, пощади намъ <...> сынъ человеческий приидеть» [12, с. 181]. Этот отрывок фразеологически перекликается с «Творением» Кожуха о буре: «великаго страха <...> многими скорбьми <...> пощаде насъ» [12, с. 183]. Больше перекличек с окончанием «Творения»: «О, Владыко!» (отрывок) – «своего Владыкы» [12, с. 184]; «безакония наша» – «по безаконию нашему»; «братия <...> бежи» – «братиа <...> избегше»; «ожидая покаяния – «покаяния <...> положивше <...> покаемся». Возможно, этот панический отрывок также принадлежал Родиону Кожуху, который заявил: «сие лето на конци явися» (перед концом мира), но тут вмешался летописец конца XV в. и трезво отметил: «И того лета не бысть ничто же»<sup>12</sup>, а имя ошибавшегося автора опустил.

В целом же, мы встречаем редкий до XVI в. случай заметного влияния личной одаренности автора на поэтику его произведения.

#### 4. «Сказание» Авраамия Палицына: философия горестей

Известно, что прозаическое «Сказание» Авраамия Палицына содержит рифмованные отрывки. Но зачем? Смысл сочетания этих разных форм изложения неясен. Попробуем его определить.

Все рифмованные отрывки находятся в самых трагических местах «Сказания» (в главах 7, 8, 9 – о подготовке поляков и литовцев осадить Троице-Сергиев монастырь; в главах 34, 35 – о падении нравов в монастыре; в главах 45, 46, 47 – о мучениях людей в осаде; в гл. 58 – о смерти Михаила Скопина-Шуйского). Все рифмованные отрывки являлись горестными высказываниями Авраамия Палицына о событиях времени Смуты, и величина таких отрывков все увеличивалась по ходу повествования.

Это были действительно стихи – в отличие от усилительных глагольных перечислений. Так, в главе 8 Палицын сказал

<sup>1</sup> Я. С. Лурье предполагал, что весь текст под 1459 г. принадлежал летописцу (см.: [5, с. 237]). Однако замечания летописца в летописи все-таки стилистически иные – сухие и фактографичные.



о разорении России: к Григорию Отрепьеву «все воры к нему обращаются <...> вся древняя царская сокровища истощити. Вся же Росия от ложных царей зле стражет». И далее стихами (по шесть ударных слов в каждой строке):

И богатство от всех градов на цари отъемлемо бывает.  
 Народ же от околних стран всюду меч поядает.  
 Росии убо всей царь Василий Иванович нарицается.  
 От тушинскаго же вора все Росийское государство разорется.  
 [14, с. 128].

Стихотворная форма у Палицына вносила дополнительный смысл в повествование. Так, самый длинный стихотворный отрывок о несчастьях Авраамий Палицын поместил в главе 47 о вылазках обессиленных осажденных: «побивающе множество градских у добытия дров за градом» [14, с. 183]. Двустипшия с четырьмя ударными словами:

И мнозем руки от брани престаху,  
 Всегда о дровех бои злы бываху.  
 Исходяще бо за обитель дров ради добытия,  
 И во град возвращахуся не бес кровопролития.  
 И купивше кровию сметие и хвратие,  
 И тем строяше повседневное ястие.  
 И мученическим подвигом зелне себе возбуждающе,  
 И друг друга сим спосуждающе.  
 Идеже сечен бысть младый хврат,  
 Ту разсечен лежаше храбрых возраст.  
 И идеже режем бываше младый прут,  
 Ту растерзаем бываше птицами человеческий труп.  
 И неблагоприятен бываше о сем торг,  
 Сопротивных бо со оружием прискакаше горд.  
 Исходяще же нужницы, да обрящут си веницы,  
 За них же и не хотяще отдааху своя зеницы.  
 Текущим же на лютый сей добыток дров,  
 Тогда готовляшеся им вечный гроб.  
 [14, с. 184].

Первая смысловая особенность отрывка – философическая афористическая парадоксальность событий (расплата за дрова), подчеркиваемая оригинальностью и неожиданностью рифм. Эта

тема продолжается тут же в главе и дальше («вкупе вношаеми бываху дрова и человеческая глава»); она затем выражена и прозаически в этой же главе («выменил еси проклятыя дрова сия другом ли, или родителем, или свое кровию <...> брашну сострояему злейшею ценою <...> кровь твою изьем и испию <...> изьемы друг друга <...> тех поты и кровию напитахомся <...>» [14, с. 184].

Вторая смысловая особенность же стихотворного отрывка – соотношение двух комплексов предметных понятий – спасительных и, напротив, губительных: дрова, хворост, прутья, веники, еда – и кровопролитие, рассечение, трупы, потеря зениц, гробы. Такое траурное соотношение уже относимо к художественным средствам, тяготеющим к метафоре. Ср. в главе 9:

...народ во обители к мукам уготовляется.  
Трапеза бо кровопролитнаа всем представляется,  
И чаща смертная всем наливается.  
[14, с. 131].

Трапеза предлагаемая, чаша наливаемая – муки, кровопролитие, смерть.

Так что, стихотворствуя, Авраамий Палицын эпизодически занимался и художественно-философским осмыслением Смуты. Подобная тенденция, пусть и менее ясно выраженная вкраплениями отдельных двустиший, пронизывает все «Сказание». Недаром Палицын призывал: «И ныне, братия, отверзем умныя зеницы сердца своего и искусно разумеем, чего ради быша нам вся сия наказания от Бога» [14, с. 249].

В ряду произведений о Смуте «Сказание» Авраамия Палицына знаменует новый, художественно-философский, этап (или тип) осмысления прошедших событий, в то время как другие авторы, хотя и писали экспрессивно, однако осмысляли Смуту преимущественно с публицистических, политических либо с историко-толковательных позиций и настоящими стихами не пользовались, или же развлекательными двустишиями составляли концовку произведения.

### **5. «Повесть о Горе-Злочастии»: жизненный пессимизм**

«Повесть о Горе-Злочастии» по списку первой половины XVIII в. содержит поучения (поучительные «слова-проповеди», собственно поучения и даже поучительную «напевочку»), включенные

в сюжетное повествование, притом поучения на одну и ту же тему о благочестивой и о грешной жизнях персонажей: «как <...> жить»<sup>1</sup> [7, с. 33]; как «Богъ <...> повелель <...> жити» [7, с. 28]; как кто «хотель жити» [7, с. 30]; какое «житие <...> Богъ дал» [7, с. 31] и т. д. и т. п. Все формы изложения в повести тесно связаны друг с другом мотивами и фразеологией.

Рассмотрим, например, примкнувшую к началу повести о Молодце **вступительную проповедь**, произносимую автором, а не персонажами. Уже давно замечена (Д. С. Лихачев) органичная объединительная связь этой вступительной проповеди с остальной повестью. В чем ее смысл?

Переключка мотивов и выражений вступления с последующим изложением вводила некую развивающуюся историю жизни персонажа в повествование: то, что случилось с человечеством, затем отразилось и на новородившемся Молодце. Так, «учинил Богъ заповедь законную <...> для рождения человеческого» [7, с. 28], – и вот родился Молодец: «Тако рождение человеческое от отца и от матери. Будеть Молодецъ <...>» [7, с. 29]. Далее: «Ино зло племя человеческо <...> на безумие обратилися» [7, с. 28–29], – а Молодец сначала напротив: «в разуме, въ беззлобии» [7, с. 29]; однако потом: «не в полномъ разуме и несовершен разумомъ» [7, с. 30]; но в конце концов все-таки не лишился «великаго разума» [7, с. 33], «великаго крепкаго разума» [7, с. 36]. Далее: «Богъ <...> велель <...> бракомъ и женитьбамъ быть» [7, с. 28], – и Молодец соответственно «присмотрил невесту себе по обычаю, захотелся Молотцу жениться» [7, с. 33]. Наконец: «господь Богъ <...> приводя нас на спасенный путъ» [7, с. 29], – и в конце повести «спамятуеть Молодецъ спасенный путь» [7, с. 38].

История жизни, составленная из мотивов и выражений, перекликающихся во вступлении и основном изложении повести, имеет преобладающую направленность к плохому или к еще более худшему: «А се роди <...> учели жить в суете» [7, с. 29], – Молодец же дошел совсем до жития сего позорного» [7, с. 36]; на людские роды «господь Богъ разгневался, <...> попустиль на них скорби великия <...> злую немерную наготу и босоту» [7, с. 29], – а Молодцу досталось наказание, пожалуй, более мучительное: по его признанию, «господь Богъ на меня разгневался», и испытал Молодец «нужду великую <...> бедность, великия многия скорби

<sup>1</sup> «Повесть о Горе-Злочастии» цит. по: [7]. В эту публикацию нами внесены многочисленные поправки по снимку рукописи РНБ, Погод., № 1773 в: [2].

неисцелныя, и печали неутешныя <...> изъсушила печал <...> сердце невесело <...> очи замутились» и пр. [7, с. 32–33]; Молодцу «нагому-босому шумить разбой» [7, с. 35], «чтобы Молотца за то повесили или с камнем въ воду посадили» [7, с. 38].

То же связное движение от хорошего к плохому отражают фразеологические повторы из **поучения родителей** Молодцу в рассказе о его последующей жизни. Родители призывают Молодца: «ты послушай учения родительскаго <...> не пей, чадо, двух чар за едину <...> не ложися, чадо, в место заточное <...> да не сняли бы с тебя драгих порть, не доспели бы тебе <...> племяни укору <...> не думай украст-ограбити» [7, с. 29–30]. Поведение Молодца благодаря фразеологическим повторам резко противопоставлено благим наставлениям. Он признается: «ослушался язъ отца своего и матери» [7, с. 32]; он из тех, «хто родителей своих <...> не слушаетъ» [7, с. 36]. Он не ограничился одной чарой, а «испывал чару зелена вина, запывал он чашею меда слатково, и пил он, Молодецъ, пиво пьяное» [7, с. 31]; противоположности: «где пил, тут и спати ложился <...> сняты с него драгие порты» [7, с. 31]. Не об укоре теперь идет речь: от Молодца «род и племя отчитаются, все дружи прочь отпираются» [7, с. 31]. А там «Горе <...> научаетъ Молотца <...> убити и ограбити» [7, с. 36].

**Поучение «людей добрых»** Молодцу фразеологически тоже связано с основным рассказом и движением от хорошего к плохому. Ограничимся одним примером. «Люди добрыя наставляють Молодца: «покорися ты другу и недругу, поклонися стару и молоду» [7, с. 33]. Молодец же выбрал самое худшее: «не к любимому он учнеть упадыват и учнеть он недругу покаратися <...> покорился Горю нечистому, поклонился Горю до сыры земли» [7, с. 36]. Искал Молодец учителей, а попал к самому плохому.

Наконец, **«напевочка»** Молодца ясно свидетельствует о преобладании плохого над хорошим. Также приведем лишь один пример. Молодец вспоминает: «мне быти белешенку» [7, с. 37]. Этот мотив проходит почти через всю повесть, но становится все трагичнее после того, как «вставал Молодец на белые ноги <...> умывал он лице свое белое» [7, с. 31]: «надевал он гунку кабацкую, покрывал он свое тело белое» [7, с. 31]; затем стало его «белое лице унынливо» [7, с. 33]; а потом – полное отчаяние: «ино кинус я, Молодецъ, в быстру реку, – полощы мое тело, быстра река; ино еште, рыбы, мое тело белое» [7, с. 35–36]. Печальный итог Молодец афористически подвел своей «напевочкой»: «что мне быти белешенку, а что родился головенкою» [7, с. 37].

И есть еще один смысл, вносимый повторами в повесть. Почти каждый фразеологический повтор не соседствует близко со своей парой, пары разнесены, как правило, далеко друг от друга, потому что отражают длительность жизненных процессов. И действительно, Молодец долго ищет себе подходящих учителей, то одних, то других; «учение» превратилось в длительный процесс; Молодец не сразу предался пьянству; его не сразу стали увещевать «люди добрыя»; Горю не сразу удалось покорить Молодца; его не сразу перевезли «за быстру реку»; Молодец не сразу решился вернуться к родителям; Молодец не сразу попытался скрыться от Горя и далеко не сразу «в монастыр пошел постригаться» [7, с. 38]. Отличие от стремительных рассказов летописи здесь разительно. Для автора «Повести о Горе-Злочастии» события развивались от хорошего к плохому постепенно и мучительно.

Развитие мотивов от хорошего к плохому, вероятно, объяснимо пессимистическим представлением автора повести, и не только думами о Молодце, а ощущением обманчивости современной ему человеческой жизни вообще [3, с. 701–710]. Однако отчетливых формулировок этой идеи в повести не найти. Вероятно, то была философски не осознанная, стихийно сложившаяся у автора идейная тенденция.

Проделанные наблюдения помогают объяснить сам феномен взаимодействия разных жанровых форм в произведении: синкретичная множественность задач у автора – фактографических, философских, проповеднических, эмоциональных и изобразительных – привела к сочетанию разных форм повествования.

В заключение кратко укажем темы, которые представляются нам наиболее плодотворными для дальнейших исследований поэтики древнерусской литературы: XI–XIV вв. – виды экспрессии и изобразительности; XV в. – трагические мотивы; XVI в. – ритмичность изложения и виды риторичности; XVII в. – виды художественной философии жизни у авторов.

## Глава 4

### Факторы выразительного повествования в древнерусских произведениях

Литературность древнерусских произведений нередко считается очевидной и не требующей доказательств ее наличия. То, что это не так, прекрасно показали труды И. П. Еремина, В. П. Адриановой-Перетц, Д. С. Лихачева. Мы работаем в этом же направлении, конечно, посылно.

В предлагаемых очерках основное внимание обращено на выразительность и изобразительность отдельных мест в памятниках и на внешние причины, это явление породившие.

#### 1. Летописи XII–XIII вв.

Мы не будем возвращаться к рассмотрению выразительных описаний «Повести временных лет», объяснимых обращением киевского летописца начала XII в. преимущественно к событиям необычным и удивительным. Это сделано нами ранее. А теперь обратимся к менее благодарному материалу.

Древним образцом фактографической краткости сообщений, как известно, служит «Новгородская первая летопись» старшего извода по Синодальному списку XIII в., особенно ее статьи за XI–XII вв. Но даже эта, казалось бы, самая скупая на выразительность часть летописи обладает какой-то степенью литературности.

Да, об очень важных для Новгорода событиях новгородский летописец писал подробно и эмоционально, а остальные события сухо упоминал и перечислял их кратко как факты посторонние, не главные или меньшего уровня значимости для Новгорода. Однако и к некоторым «менее значимым» для него фактам летописец также иногда проявлял неравнодушное отношение, обозначая их выразительно.

Сначала – о выразительности логической. Приведем отдельные примеры по ходу изложения в начальной части летописи. Под 1068 г. летописец сообщил: «Гневъ Божии бысть: придоша половци и победиша Русьскую землю» [1, с. 17]<sup>1</sup>. Шедевр лаконизма! Однако упоминания «гнева Божия» и «Русской земли» имели скрытый ассоциативный смысл и указывали на масштаб

<sup>1</sup> «Новгородская первая летопись» цит. по: [1].

несчастья, даже если новгородский летописец как бы только для обозначения факта сократил здесь соответствующее сообщение «Повести временных лет».

Выражение «гнев Божий» и ему подобные новгородский летописец употреблял только по поводу исключительно больших несчастий: половецые «измроша, убиваемы гневомъ Божиимъ» [1, с. 62, под 1224 г.]; массовая смерть от голода – «видяще предъ очима нашими гневъ Божии <...> не въ нашей земли въ одинои, нъ по всеи области Русстей» [1, с. 71, под 1230 г.]; татаро-монгольское нашествие – «попусти Богъ поганяна на ны, наводитъ Богъ по гневу своему иноплемьники на землю» [1, с. 76, под 1238 г.].

Упоминания же «Русской земли» чаще всего обозначали у новгородского летописца охват всех областей страны тем или иным событием: «Идоша вся братья Русьския земля на половеце» [1, с. 19, под 1093 г.]; «иде <...> вся земля просто Русская на половеце» [1, с. 20, под 1111 г.]; «сильно бо възмялася вся земля Русская» [1, с. 23, под 1135 г.]; «ходиша вся Русская земля на Галиць» [1, с. 27, под 1145 г.]; «бысть тишина въ Русьстей земли» [1, с. 29, под 1155 г.] и пр.

Так что внешне фактографичное сообщение новгородского летописца под 1068 г. о победе половцев над Русской землей обдало некоторой лапидарной выразительностью, подразумевая очень крупный военный конфликт (на фоне явно более мелких событий, далее кратко же перечисленных новгородским летописцем в той же статье под 1068 г.: освобождение князя «ис поруба», стычка другого князя с половцами, бегство еще другого князя «въ ляхы»). Большое несчастье у киевских «соседей» все-таки произвело впечатление на новгородца.

Перейдем к сообщениям на иную тему и к выразительности эмоциональной. Под 1125 г. летописец кратко рассказал о стихийном бедствии в Новгороде: «бъше буря велика съ громомъ и градомъ, и хоромы раздъра, и съ божницъ вълны [шерсть] раздъра, стада скотины истопи въ Волхове» [1, с. 21]. Выразительны созвучия в цепи фраз: бя-бу, гро-гра-хоро, ра-ра, ра-ра, ста-ско-сто, въ-во-ве. Хотя совершенно неясно, сознательно ли летописец прибегнул к такому средству или созвучие случайно. Однако подобные трагические созвучия и дальше встречались в летописи. Ср.: «бы вода велика вельми въ Волхове и всюде» – и дальше эмоциональные повторы: «разнесе <...> растърза >...>внесе <...> отинудъ бе-знатбе занесе» [1, с. 26–27, под 1143 г.]. Как бы то ни было, возможная эмоциональная выразительность таких сообщений летописца

была связана уже не с военным, а с природным «конфликтом» (остальные уже чисто фактографические сообщения в статье под 1125 г. касались вполне мирных русских дел: посажения князей «на стол» и росписи церкви; а в статье под 1143 г. – женитьбы князя).

Чаще же некоторая экспрессивность краткого сообщения достигалась летописцем благодаря повторам; вот жалоба: «паде метыль густъ *по* земли, и *по* воде, и *по* хоромомъ, *по* 2 ноци, и *по* 4 дни» [1, с. 21, под 1127 г.]. И опять выразительность была связана с природной неприятностью.

Кроме того, летописец выражал и явную экспрессию в своих кратких сообщениях, открыто высказывая эмоциональные оценки по поводу военных и природных конфликтных событий: «И бысть сечи зле» [1, с. 15, под 1016 г.]; «о, велика бяше сеця» [1, с. 17, под 1069 г.]; «почя убывати солнца и погыбе все; о, великъ страхъ» [1, с. 21, под 1124 г.]; «и стаща денье злы: мразъ, вялиця, страшно зело» [1, с. 23, под 1134 г.]; «много бысть зла, и погоре всь тьргъ и двори» [1, с. 29, под 1152 г.] и т. д. и т. п.

Отсюда видно, насколько эстетически действенной была в Новгороде атмосфера конфликтности, тягот и бедствий, подтолкнувшая новгородского летописца XI–XII в. к минимальному в пределах даже одной–двух фраз, но все же выразительному изложению, не говоря уже о сравнительно больших рассказах.

Атмосфера конфликтности и несчастий и переживания от этого подвигли новгородского летописца не только к логической и эмоциональной выразительности, но иногда и к некоторой образности повествования. Так, глагол «пасти» благодаря «территориальным» деталям нередко имел у летописца дополнительный смысл покрытого пространства. Голодомор: «люте бяше <...> *падъшимъ* от глада, трупие *по улицямъ, и по тьргу, и по путъмъ, и всюду*»... [1, с. 22, под 1128 г.] – сплошь лежащие тела. Гроза: «въ святеи Софии от грома <...> *клирось вьсь* съ людьми *падоша ници*» [1, с. 20, под 1117 г.] – люди сплошь лицами в пол. После убийства владимирского князя: «великъ мятежь бысть *въ земли той* и велика беда, и *множьство паде головъ*, яко и числа нету» [1, с. 34, под 1174 г.] – убитые лежат во множестве на той земле.

В прочих случаях атмосфера социальной или природной конфликтности благодаря четким предметным ассоциациям летописца приводила к подчеркнутой зримости его описаний. Расправа с посадником, совсем голым: «обнаживъше, *яко мати*



*родила, и съверша и съ моста» [1, с. 26, под 1141 г.]. Гроза с крупным и увесисто круглым градом: «зело страшно бысть <...> градъ же, яко яблъковъ боле» [1, с. 30, под 1157 г.]. Пасмурность очень долгая и дождливая: «наиде дъжгъ, яко не видехомъ ясна дни ни до зимы <...> а на зиму не бысть <...> ни ясна дни и до марта» [1, с. 27, под 1145 г.] – беспросветно.*

Конечно, в летописи, в пределах XI–XII вв., часты были сообщения и о мирных событиях, особенно о строительстве церквей, но такие сообщения почти всегда являлись чисто фактографическими и лишь единичные, благодаря стройности перечисления, вдруг приобретали у летописца некую напевную выразительность, вроде следующей похвалы по поводу редкостного доброго дела: «Аркадъ игумень <...> състави собе монастырь; и бысть крестьяномъ прибежище, ангеломъ радость, а дьяволу пагуба» [1, с. 29, под 1153 г.]. В итоге, все это свидетельствует о преобладавшем безусловном влиянии спокойной атмосферы конфликтности в новгородской жизни XI–XII вв., на появление большинства литературных мест в новгородской летописи.

Теперь перейдем к «**Владими́ро-Суздальской летописи**» (в пределах XII – первой трети XIII вв.), в которой летописец обильно использовал фразеологию «Повести временных лет» и переписал целые отрывки из нее.

Но вот пример не текстологической, а изобразительной ориентации «Владими́ро-Суздальской летописи» на «Повесть временных лет». Нет, не об этикетности будем говорить. Так, под 1128 г. летописец пересказал легенду, изложенную в «Повести временных лет», о насильственной женитьбе Владимира на Рогнеде, но при этом указал на позы героев, на их руки. Лежащий Владимир схватил наклонившуюся над ним с ножом Рогнеду за руку: «уснувшю; хотя и зарезати ножемъ; и ключися ему убудитися и я ю за руку» [2, с. 300, под 1128 г.]<sup>1</sup>. Затем Рогнеде приходится «сести на постели», но, чтобы защититься, она «давши же мечь сынови своему Изяславу в руку нагъ», и Владимир «повергъ мечь свои».

Нигде во «Владими́ро-Суздальской летописи» нет подобного изобразительного упоминания реальных рук. Это вставка. Подтверждается мнение А. А. Шахматова, что рассказ о Рогнеде во «Владими́ро-Суздальской летописи» «восходит в конце концов к Новгородскому своду XI века» [4, с. 249, см. также: 145, с. 174, 247].

<sup>1</sup> «Владими́ро-Суздальская летопись» цит. по: [2].

Тем не менее в статье под 1128 г. владимирский летописец опирался хотя и не на текст рассказа о Рогнеде в «Повести временных лет», однако все-таки на повествовательную манеру «Повести временных лет», для которой как раз были характерны обозначения поз персонажей через упоминания их рук. Ср. в «Повести временных лет»: «подаста руку межю собою» [2, с. 67, под 968 г.]<sup>1</sup>; «прострета руку» [2, с. 89, под 986 г.]; «преторже череве рукама <...> похвати быка рукою за бокъ <...> удави печенезина в рукахъ» [2, с. 123, под 992 г.]; «свеще держаше в рукахъ» [2, с. 182, под 1072 г.]; «помавають рукою» [2, с. 235, под 1096 г.]; «дотиснувься палцемь в чашю» [2, с. 166, под 1066 г.].

Кстати говоря, выражение с предметным дополнением «зарезати ножемь» во владимирском рассказе тоже восходило к «Повести временных лет»: «вынзе ножь, зареза Глеба» [2, с. 136, под 1015 г.]; «вынзе ножь и зареза Редедю» [2, с. 147, под 1022 г.].

Судя по работам А. А. Шахматова и Я. С. Лурье, статья под 1128 г. перешла во «Владими́ро-Суздальскую летопись» из предыдущих владимирских летописных сводов 1185 и 1305 гг., содержащих «Повесть временных лет»; поэтому неизвестно, чьи литературные вкусы отразила статья под 1128 г.

Для прочих, правда, немногих и разрозненных статей «Владими́ро-Суздальской летописи» характерна уже знакомая нам зависимость явлений выразительности и образительности от исключительных социальных и природных несчастий и угроз. Так, летописец экспрессивными глаголами насилия заполнил рассказ об убийстве князя расви́репешей толпой: «а хочем и́ убити <...> хочем убити <...> кликнувшѣ поидоша убити <...> и идяхуть людьѣ убити <...> и яша <...> бьючи <...> и выломиша ворота <...> и разбиша сени, и сомчаша и́ с сенеи, и ту убиша и́ <...> поверзьше, за нозе волокоша <...> поверженьъ естъ на торговици» [2, с. 317–318, под 1147 г.]. Глаголами «кликнути», «бити», «выломити», «разбити», «сомчати», «повергнути», «волочити» летописец, несомненно, изобразил, притом неодобрительно, бешеный напор нападавших.

В некоторых других случаях летописец изображал (сам или через чье-то посредство) тесное грозное пространство, «накрывающее» человека. Например, во время битвы сопровождающие «видев же князя своего в велику беду впадша, зане обиступленъ бе ратными <...> ятъ бо бе двема копьема конь под нимъ,

<sup>1</sup> «Повесть временных лет» цит. по: [2].

а третьимъ в передни лукъ и седелныи; а с города, *акы дождь*, камене метажу на нь; един же <...> видевь *и*, хоте *просунути* рогатиною» [2, с. 325, под 1149 г.].

Что здесь можно заметить, по нашему истолкованию? Изображение у летописца, конечно, скрытое, слабое, детали имели неотчетливый пространственный смысл: «обиступлень» – персонаж окружен; три вражеские копя «под нимъ» – с боков персонажа; «акы дождь» – камни густо падают сверху; «просунути рогатиною» – опасность снизу.

Летописец «сгустил» смертельно опасное пространство вокруг персонажа явно из сочувствия к нему: «в велику беду впадоша». Изображение опять-таки оказалось связанным с реально бывшим яростным нападением врагов.

Сильнейшие природные конфликты тоже приводили озбоченного летописца к образительности повествования. Например, сообщение о сильной засухе и пожарах превратилось у летописца в детальную картинку плотно задымленного пространства вокруг людей: «Бе ведро *велми*, и мнози борове и болота загарахуся, и *дымове силни* бяху, яко *недалече бе видети* человекомъ. Бе бо яко *мгла* к земле *прилегла*, яко и птицам *по аеру не бе лзе летати*, но падаху на земли и умираху» [2, с. 447, под 1223 г.] – дым густой («мгла»), люди закрыты дымом со всех сторон, даже птицам ничего не видно. Полная безвыходность для всех поголовно.

Кроме того, крупные несчастья порождали у летописца тяготение к выразительному описанию отрицательных и мучительных физических состояний персонажей. Например, мимолетное изображение внезапной незащитности молодого князя в ожесточенной стычке: «*изломи копье* свое, тогда же *бодоша конь* под ним в ноздри, и *конь* же начать *соватися* под ним, и *шеломъ* с него *слете*, и *щитъ отторже*» [2, с. 334, под 1151 г.]. Судя по подбору деталей, летописец подчеркнул: все, что составляло силу нетерпеливого воина, сразу повредилось или потерялось.

В резко эмоциональном рассказе о небывало садистском отношении мирского владыки «Феодорца» к людям летописец, перечисляя казни, показал как бы безостановочность членовредительства. У каждого человека по две казни вместе: «человекомъ головы порезывая и бороды; иным же очи выжигая и языкъ урезая; а иныя *распиная* по стене и муча немилостивне» [2, с. 356, под 1169 г.]. Но и над самим палачом «Феодорцем» совершили три казни сразу: «языкъ урезати <...> и руку правую утяти и очи ему выняти».

Страшные стихийные явления и рассказы очевидцев о том также послужили у летописца источником выразительных описаний. Так, изумившийся летописец набором глаголов подчеркнул качку во время большого землетрясения: «*потрясеса земля, и церкви, и трапеза; и иконы подвижешася по стенам, и паникадила с свещами; и светилна поколебашася; и людьє мнози <...> мняхутся тако, яко голова обишла коего их*» [2, с. 454, под 1230 г.].

Болело солнце: «Бысть знаменьє въ солнци, и морочно бысть велми <...> яко зелено бяше, и въ солнци учинися, яко мєсяць, из рогь его, яко *угль жаровь* исхожаше. *Страшно* бе видети человекомь знаменьє Божье» [2, с. 396, под 1186 г.]. Почему «страшно»? Помимо точного описания солнечного затмения летописец, хоть и не очень отчетливо, передал зрительное впечатление гибельного догорания солнца: оно почти все погасло («морочно»), оставшийся огонь ослаб («зелено»), и, наконец, осталось два тлеющих уголька («угль жаровь»).

Болело небо. Летописец однажды нарисовал картину обильного небесного кровотоечения: «Бысть во едину ноць <...> *потече* небо все и бысть *чермно*; по земли и по хоромом <...> аки *кровь прольяна* на снегу <...> Мнети видящим я яко кончину» [2, с. 419, под 1203 г.]. Небесная «чермная» кровь как бы пролилась на землю, на снег и на хоромы; кровоточащее небо, по впечатлению летописца, испытывало «кончину».

В общем, особо впечатлявшие летописца конфликтные ситуации реальности шли рука об руку с выразительностью их описаний во «Владими́ро-Суздальской летописи».

Что касается «**Киевской летописи**», литературная сторона которой обстоятельно изучена И. П. Ереминым (он впервые использовал термин «этикет»), то мы можем добавить лишь немного о конфликтных ситуациях и несчастьях как причинах появления выразительных предметных деталей в летописных эпизодах.

Если исключить статьи, аналогичные «Владими́ро-Суздальской летописи», то в «Киевской летописи» останутся буквально две-три выразительные статьи, но специфические. «Киевская летопись» – это бесконечная лента военно-тактических рассказов, но, что интересно, с проникновением подобных воинских мотивов в темы, к войне не относящиеся. Например, в лунном затмении пораженный киевский летописец увидел воинский поединок: «бысть знамение в луне страшно и дивно <...> бысть яко кровава <...> и посреде ея яко два *ратьяна секущєся мечема*, и единому ею, яко кровь, идяше изъ главы, а другому бело, акы млеко,

течаше» [3, с. 516, под 1161 г.]<sup>1</sup>. Даже в описании сильной бури киевский летописец не обошелся без воинских деталей: «бысть буря велика <...> и розноси хоромы, и товарь, и клети <...> и спросто рещи, яко *рать* взяла <...> налезоща *броня* у болоте, занесены *бурею*» [3, с. 314, под 1143 г.] – буря равна войне.

Но однажды не воинский дух, а иная трагическая ситуация подтолкнула киевского летописца припомнить выразительную предметную деталь: умирающий очень богомольный князь «възреть на икону самого Творца <...> и бе видети слезы его, лежачи на скранью (на щеках) его, яко *женчюжная зерна*» [3, с. 532, под 1168 г.]. Это уже чисто церковное влияние: ведь жемчуг, по сообщениям той же «Киевской летописи», служил украшением икон и церковной утвари.

В заключение скажем о начальной части «**Галицкой летописи**» (до статьи «Побоище Батыево» под 1237 г.). Темы, мотивы и фразеологию «Галицкой летописи» в настоящее время внимательно, систематично и подробно обозрел А. А. Пауткин. Мы же добавим некоторые наблюдения именно над выразительностью повествования летописи в пределах до татаро-монгольского нашествия.

Обращает внимание приверженность галицкого летописца к усиленному оценочному подчеркиванию качеств отрицательных персонажей и событий в максимальной степени их проявления. Вот крайне отрицательный персонаж: «бе бо *томитель* бояромъ и гражаномъ и *блудь* творя и *оскверняху* жены же, и черници, и попады – в правду бе *антихристь* за *скверная* дела его» [3, с. 722, под 1205 г.]<sup>2</sup>. Вот крайне амбициозный персонаж: «прегордый, надеяся обяти землю, потребити море» [3, с. 736, под 1217 г.] – куда уж дальше. Вот крайне лживый персонаж: «бе бо лукавыи *льстець* наречень и всихъ стропотливее <...> *лъжею* питашесе языкъ его <...> возложаше веру на *лжюу*, красяшесе *лестью* паче венца, *лжеименець*» и т. д. [3, с. 748, под 1226 г.].

Соответственно героически идеальными выступали у летописца положительные персонажи. Такими являлись, как хорошо известно, некоторые галицкие князья; летописец, прославлял их идеализирующими сравнениями и оценками: «устремил бо ся бяше на поганая, яко и левъ; сердить же бысть, яко и рысь; и губяше, яко и коркодиль; и прехожаше землю ихъ, яко и орель;

<sup>1</sup> «Киевская летопись» цит. по: [3].

<sup>2</sup> «Галицкая летопись» цит. по: [3].

храборъ бо бе, яко и туръ» [3, с. 716, под 1201 г.]; «бе бо дерзь и храборъ от главы и до ногу его, *не бе на немь порока*» [3, с. 744–745, под 1224 г.].

Степень обширности описываемых событий летописец тоже доводил до крайности настойчивыми перечислениями и повторами. Если победа над врагами, то полнейшая: «вси бо утре и ляхове убьени быша; а *инии* яти быша; а *инии*, бегающе по земле, истопоша; *друзии* же смерды избьени быша; и *никому* же утекши» [3, с. 738, под 1219 г.]. Если мор, то всеобщий: «сице *умирающимъ: инии* же изъ подышевь выступахуть, аки ис чрева; *инии* же, во коне, влезыше, *изомроша; инии* же, около огня солезышеса и мясь ко устомъ придевоше, *умираху; многими* же ранами разными *умираху*» [3, с. 761, под 1229 г.].

Наконец, чувства людей и состояние оружия летописец с явным неравнодушием обозначал броско и выразительно экспрессивными сравнениями. Например, под 1235 г. летописец нарисовал сразу две картинки. Радующиеся сторонники князя к нему «пустишася, яко дети ко отчю, яко пчелы к матце, яко жажюци воды ко источнику». А растерянность недругов князя была изображена сочетанием уничижительных деталей: «*малодушна* блюдащася <...> *изиидоста слезнама очима, и ослабленомъ* лицомъ, и *лижюща* уста своя» [3, с. 777].

Даже единичные предметные детали у летописца (смысл их самоочевиден) указывали на крайнюю напряженность ситуации: воин «*добре* борющася, и сулицы его *кроваве* суци, и оскепищю *исечену* от ударения мечеваго» [3, с. 768, под 1231 г.]. Трагические картинки благодаря предметной подробности, очень чувствительной: «увернувся половчинъ, *застрели* Уза во око, и спадшю ему с фаря (коня)» [3, с. 737, под 1219 г.]; когда князю «в пиру веселящуся, одинъ от техъ безбожныхъ бояръ *лице* зали ему чашею, и то ему стерпевшу» [3, с. 763, под 1230 г.]. И т. д.

Почему галицкий летописец разными способами усиливал качества людей и событий, особенно связанных с воинами? Потому что реальность первой трети XIII в. стала гораздо конфликтней, чем раньше. Летописец и сам эмоционально отметил это: «Начнемъ же сказати *бещисленья* рати, и великыя труды, и частыя воины, и многия *крамолы*, и частая востания, и многия *мятежи*» [3, с. 750, под 1227 г.]; «скажем многии *мятежь*, великия *лысти*, *бещисленья* рати» [3, с. 762, под 1230 г.].

Обзор выразительных мест в четырех древнейших русских летописях указывает на общую причину эпизодического появления

выразительности и изобразительности в рассказах летописцев. Для XII – первой трети XIII вв. действовал не принцип «когда пушки стреляют – музы молчат», а, напротив, принцип «когда стрелы стреляют – музы вдохновляют».

В заключение добавим краткое замечание об одном гораздо более позднем влиянии несчастий на выразительность летописных рассказов уже XV в. Традиционны были указания летописцев на единодушие «всего» народа или «всех» людей по поводу печальных событий; но в XV в. летописцы стали пространно пояснять, каким обширным являлся этот «весь» народ, а главное – перечислять действия народа, производимые им как бы сплоченно в один момент и в одном месте (плач, воздыхания, рыдания, воздевание рук и т. п.) по поводу смерти князя, огромной военной опасности, бури или разразившегося голода. Беды и траурные церемонии большого государства теперь местами определяли летописный стиль. (Ср., например, «Софийскую вторую летопись» под 1395, 1421, 1460, 1534 гг.; «Новгородскую первую летопись» под 1445 г. и пр.).

*Продолжение следует.*

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

### Глава 1

#### Новые материалы по поэтико-эстетическому источниковедению древнерусской литературы

##### 1. Скрытые изобразительные и выразительные мотивы у летописца в «Повести временных лет»

1. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). М.: Языки русской культуры, 1997. Т. 1 / изд. подгот. Е. Ф. Карский. – 733 с.
2. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. – Пг.: Российская гос. академическая тип., 1920. Т. 1: тексты / изд. подгот. В. М. Истрин. – 615 с.
3. *Шахматов А.А.* «Повесть временных лет» и ее источники // Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. Т. 4. – С. 9–150.

##### 2. Эстетика чувств в «Повести временных лет»

1. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). – М.: Языки русской культуры, 1997. Т. 1 / изд. подгот. Е. Ф. Карский. – 733 с.

##### 3. Внутренние монологи литературных героев у некоторых древнерусских авторов

1. *Абрамович Д. И.* Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. – Пг.: Тип. Императорской Академии наук, 1916. – 205 с.
2. *Еремин И. П.* Литература Древней Руси: (Этюды и характеристики). – М.; Л.: Наука, 1966. – 263 с.
3. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / текст «Жития» подгот. В. Е. Гусев. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1979. – 367 с.
4. Памятники литературы Древней Руси (ПлДР): XVII век, кн. 1 / текст «Повести о царе Агтее» подгот. Е. К. Ромодановская; текст «Повести о Савве Грудцыне» подгот. А. М. Панченко; «Повесть о купце, купившем мертвое тело» подгот. Н. С. Демкова; текст «Повести о Марфе и Марии» подгот. Р. П. Дмитриева; текст «Повести о Тверском Отроче монастыре» подгот.



- С. А. Семячко; текст «Повести об Андрее Критском» подгот. М. Н. Климова. – М.: Худож. лит., 1988. – 704 с.
5. Пустозерская проза / изд. подгот. М. Б. Плюханова. – М.: Московский рабочий, 1989. – 364 с.

#### 4. Словесная эстетика переписчиков «Задонщины»

1. *Дмитриева Р. П.* Приемы редакторской правки Ефросина // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. – М.; Л.: Наука, 1966. – 619 с.
2. *Лурье Я. С.* Литературная и культурно-просветительная деятельность Ефросина в конце XV в. // Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). – М.; Л.: Наука, 1961. – 699 с.
3. Слово о полку Игореве / тексты подгот. А. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев. – Л.: Сов. писатель, 1967. – 539 с.
4. «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла / тексты «Задонщины» подгот. Р. П. Дмитриева. – М.; Л.: Наука, 1966. – 619 с. Названия списков указываются нами в сокращении: список Кирилло-Белозерский – Кир.; список Синодальный – Син.; список Ундольского – Унд.; списки Исторический первый и второй – Ист. 1 и Ист. 2; список Жданова – Ждан.
5. *Срезневский И. И.* Задонщина великого князя господина Дмитрия Ивановича и брата его князя Володимира Ондреевича // Известия по отделению русского языка и словесности императорской российской Академии наук (ИОРЯС). – СПб.: Тип. Имп. АН, 1858. Т. 6, вып. 5. – С. 339–363.

#### 5. Эстетика неожиданности в «Повести о Тимофее Владимирском» и повестях XV в.

1. Памятники литературы Древней Руси (ПЛДР): Вторая половина XV века / текст «Повести о посаднике Добрыне» подгот. Л. А. Дмитриев; текст «Сказания о Дракуле» и «Хожения» Афанасия Никитина подгот. Я. С. Лурье. – М.: Худож. лит., 1982. – 688 с.
2. Памятники литературы Древней Руси (ПЛДР): Конец XV – первая половина XVI века / текст «Повести о Луке Колочском» подгот. Л. И. Журова; текст «Повести о Тимофее»

Владимирском» подгот. Н. С. Демкова. – М.: Худож. лит., 1984. – 768 с.

3. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). – СПб.: В тип. Эдуарда Праца, 1853. Т. 6. – 360 с.

#### **6. «Ермолинская летопись»: детали в кратких сообщениях и настроение летописца**

1. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). – М.: Языки славянской культуры, 2004. Т. 23 / текст летописи подгот. Ф. И. Покровский. – 241 с.

#### **7. Социальное благополучие в «Чуде Георгия о змие» второй русской редакции**

1. Рукописные книги собрания М. П. Погодина: Каталог. – СПб.: Российская национальная библиотека, 2010. Вып. 4 / отв. ред. Е. В. Крушельницкая. – С. 26–29. Сборник № 808 описала Е. В. Крушельницкая. Предыдущие исследователи «Чуда» датировали этот сборник XVI в.
2. *Рыстенко А. В.* Легенда о св. Георгии и драконе в византийской и славянорусской литературах. – Одесса: Экономическая тип., 1909. – 532 с.

#### **8. Эстетика авторских «двустрочных» высказываний в «Мазуринском летописце»**

1. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). – М.: Наука, 1968. Т. 31 / текст летописи подгот. В. И. Корецкий. – 264 с.
2. *Трофимова Н. В.* О некоторых литературных особенностях летописания времени патриарха Иоакима // Макариевские чтения: Патриарх Иоаким и его время. – М.: Можайск-Терра, 2004. Вып. 11. – 408 с.

#### **9. «Лишние слова» в «Житии Мартирия Зеленецкого»**

1. *Бычков И. А.* Каталог собрания рукописей Ф. И. Буслаева. – СПб.: Синодальная тип., 1897. – 359 с.
2. Памятники старинной русской литературы (Пам. СРЛ). – СПб.: Тип. П. А. Кулишпа, 1862. Вып. 3 / изд. подгот. Н. И. Костомаров. – 221 с.

## 10. Новые детали в простонародных повестях конца XVII – начала XVIII вв.

1. *Дробленкова Н. Ф.* Повесть о царе Василии Константиновиче // Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). – Л.: Наука, 1988. Т. 41. – 484 с.
2. Летописи русской литературы и древности / изд. подгот. Н. С. Тихонравов. – М.: Тип. Грачева и комп., 1859. Т. 2, отдел 2. – 408 с.
3. Памятники литературы Древней Руси (ПЛДР): XIII век / тексты «Девгениева деяния» подгот. О. В. Творогов. – М.: Худож. лит., 1981. – 650 с.
4. ПЛДР: XVII век. Кн. 1 / текст «Похождения Еруслона» подгот. Н. С. Демкова; текст «Повести о Бове» подгот. А. М. Панченко; текст «Сказания о Василии» подгот. Н. С. Демкова. – М.: Худож. лит., 1988. – 704 с.
5. Русская демократическая сатира XVII века / изд. подгот. В. П. Адрианова-Перетц. 2-е изд., доп. – М.: Наука, 1977. – 257 с.

### Глава 2

## Семантика циклов внутри произведений

### 1. Повторяющиеся мотивы и мирские интересы в цикле рассказов «Физиоло́га» по списку XV в.

1. *Демин А. С.* О художественности древнерусской литературы. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 847 с.
2. *Карнеев А. Д.* Материалы и заметки по литературной истории Физиолога. – СПб.: Тип. В. Балашева, 1890. – 394 с. Приложение IV с.
3. Памятники литературы Древней Руси (ПЛДР): Вторая половина XV века / текст «Повести о Дракуле» подгот. Я. С. Лурье; текст «Повести о житии Михаила Клопского» подгот. А. Я. Дмитриев. – М.: Худож. лит., 1982. – 704 с.
4. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). – СПб.: Тип. Э. Праца, 1863. Т. 6. – 358 с.

## **2. Искаженный мир в цикле снов царя Шахаиши по списку XV в.**

1. *Веселовский А. Н.* Слово о двенадцати снах Шахаиши: По ркп. XV века. – СПб.: Тип. Имп. АН, 1879. – 47 с.
2. *Каган М.Д., Поньрко Н.В., Рождественская М. В.* Описание сборников XV в. книгописца Ефросина // ТОДРЛ. – Л.: Наука, 1980. Т. 35. – 454 с. Сборник № 22/1099 описала М. Д. Каган.
3. «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла / Текст «Задонщины» подгот. Р. П. Дмитриева. – М.; Л.: Наука, 1966. – 618 с.

## **3. «Повести о Николe Заразском» как трагический цикл**

1. *Клосс Б. М.* Избранные труды. – М.: Языки славянской культуры, 2001. Т. 2: Очерки по истории русской агиографии XIV–XVI веков. – 488 с.
2. *Лихачев Д. С.* Повести о Николe Заразском (тексты) // Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 7. – 487 с.
3. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). – СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1911. Т. 22, ч. 1 / текст памятника подгот. С. П. Розанов. – 568 с.
4. Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам. – М.: Языки славянской культуры, 2007. Т. 1 / цитируемый текст подгот. Н. Н. Покровский. – 594 с.

## **4. Библиейский цикл стихов Мардария Хонькова: элементы театральности**

1. *Белоброва О. А.* Вирши Мардария Хонькова к гравюрам Библии Пискагора // Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). – СПб.: Изд-во Дмитрий Буланин, 1993. Т. 46. – 538 с.
2. *Белоброва О. А.* Древнерусские вирши к гравюрам Маттиаса Мериана // Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). – Л.: Наука, 1990. Т. 44. – 508 с.

### 5. «Сказание о Молодце и Девнице»: три упрямца

1. *Дмитриев Л. А.* Первоначальный вид и время возникновения Сказания о молодце и девице // Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). – М.; Л.: Наука, 1969. Т. 24. – 415 с.
2. Сказание о молодце и девице, вновь найденная эротическая повесть народной литературы / Сообщение Х. Лопарева. – СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1894. – 28 с.
3. *Срезневский В. И.* Сказание о молодце и девице // Известия Отделения русского языка и словесности императорской российской Академии наук (ИОРЯС). – СПб.: Тип. Имп. АН, 1906. Т. 21, кн. 4. – 466 с.

### 6. «Рафли»: беспокойство

1. Памятники литературы Древней Руси (ПЛДР): XVII век. Кн. 1 / текст памятника подгот. Е. И. Ванеева. – М.: Худож лит., 1988. – 704 с.
2. Памятники старинной русской литературы (Пам СРА). – СПб.: Типография П. А. Кулиша, 1982. Вып. 3 / изд. подгот. А. Н. Пынин. – 178 с.
3. *Симони П. К.* Повесть о Горе-Злочастии, как Горе-Злочастие довело Молодца во иноческий чин // Сборник Отделения русского языка и словесности императорской российской Академии наук (СОРЯС). – СПб.: Тип. Имп. АН, 1907. Т. 83. № 1. – С. 1–88.
4. *Симони П. К.* Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII–XIX столетий. – СПб.: Тип. Имп. АН, 1899. Вып. 1. – 216 с.

## Глава 3

### Взаимодействие жанров в древнерусских литературных памятниках XII–XVII вв.

1. *Абрамович Д. И.* Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. – Пг.: Тип. Имп. АН, 1916. – 205 с.
2. *Демин А. С.* О художественности древнерусской литературы. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 848 с.

3. Демин А. С. Обманчивость «жития» как художественная идея «Повести о Горе-Злочастии» // Герменевтика древнерусской литературы. – М.: Знак, 2008. Сб. 13. – С. 701–710.
4. Лихачев Д. С. Новгородская летопись XIII–XIV вв. // История русской литературы. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946. Т. 2: Литература 1220-х – 1580-х гг., ч. 1. – С. 114–121.
5. Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV–XV вв. – Л.: Наука, 1976. – 286 с.
6. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / изд. подгот. А. Н. Насонов. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 642 с.
7. Памятники литературы Древней Руси (ПЛДР): XVII век. – М.: Худож. лит., 1988. Кн. 1. – 704 с.
8. Памятники литературы Древней Руси: XI – начало XII века. – М.: Худож. лит., 1978. – 413 с.
9. Памятники литературы Древней Руси: XII век. – М.: Худож. лит., 1980. – 704 с.
10. Повесть временных лет / изд. подгот. Д. С. Лихачев. – СПб.: Наука, 1996. – 668 с.
11. Полное собрание русских летописей. – М.: Языки русской культуры, 1997. Т. 1 / текст летописи подгот. Е. Ф. Карский. – 496 с.
12. Полное собрание русских летописей. – СПб.: Тип. Э. Праца, 1853. Т. 6. – 364 с.
13. Симоны П. К. Повесть о Горе-Злочастии... // Сборник Отделения русского языка и словесности (СОРЯС). – СПб.: Тип. Имп. АН, 1907. Т. 83, № 1. – С. 1–88.
14. Сказание Авраамия Палицына / изд. подгот. О. А. Державина и Е. В. Колосова. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – 346 с.

#### Глава 4

#### Факторы выразительного повествования в древнерусских произведениях

1. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / изд. подгот. А. Н. Насонов. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 640 с.
2. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). – М.: Языки русской культуры, 1997. Т. 1 / изд. подгот. Е. Ф. Карский. – 733 с.

3. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). – М.: Изд-во восточной литературы, 1962. Т. 2 / изд. подгот. А. А. Шахматов. – 958 с.
4. *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. – СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1908. – 686 с.

*Об авторе / About author*

**Анатолий Сергеевич Демин** – доктор филологических наук, главный научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25 а, 121069 г. Москва, Россия. E-mail: [anatolydemin@gmail.com](mailto:anatolydemin@gmail.com)

**Anatoly S. Demin** – DSc in Philology, Director of Research, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25 a, 121069 Moscow, Russia. E-mail: [anatolydemin@gmail.com](mailto:anatolydemin@gmail.com)